

МАНАШИР АЗИЗОВ

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Рассказы

- ТАКСИСТ
- СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- НЕПРИСТУПНАЯ
- СКРИПКА
- ИВАН СИДОРОВИЧ
- ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

Рассказ-очерк

МАНУВАХ

Новелла

ПИСЬМО

МАНАШИР АЗИЗОВ

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Рассказы

- **ТАКСИСТ**
- **СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК**
- **НЕПРИСТУПНАЯ**
- **СКРИПКА**
- **ИВАН СИДОРОВИЧ**
- **ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА**

Рассказ-очерк

МАНУВАХ

Новелла

ПИСЬМО

Манашир Азизов

Повесть: «Трое из плена»; рассказы: «Таксист», «Странный человек», «Неприступная», «Скрипка», «Иван Сидорович», «Исповедь домушника»; рассказ-очерк: «Манувах»; новелла: «Письмо». – М.: «ЧеРо», 2001. – 140 с.
ISBN 5-88711-154-2

ISBN 5-88711-154-2

© Манашир Азизов, 2001

Повесть **ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА**

Рассказы

ТАКСИСТ
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
НЕПРИСТУПНАЯ
СКРИПКА
ИВАН СИДОРОВИЧ:
ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

Рассказ-очерк

МАНУВАХ

Новелла

ПИСЬМО

*Отцу моему,
дважды бежавшему из
фашистского плена, посвящаю.*
Автор

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Товарняк лязгал буферами, скрипел колесами и медленно двигался на восток. Однообразный, монотонный перестук колес навевал воинам тягостные мысли. В вагонах и на открытых платформах сидели и лежали солдаты. Стояла несвойственная для сентября жара. Мухи прилипали к ранам и не давали покоя.

– Дышать невозможно, – жалуясь то ли на жару, то ли на запах, исходящий от начинающей гнить ноги молодого солдата, вытирая краем рубахи лицо и шею, произнес с кавказским акцентом чернявый, большеносы солдат. – Гниет весь...

– Да-а, – протянул, озираясь по сторонам, молодой рыжеволосый ефрейтор Петренко.

– Това-ри-щи, может... – почувствовав небольшую поддержку, заскулил тот же большеносы солдат Якубов. Он посмотрел на бойцов и, не найдя в их взглядах сочувствия, сразу замолк. Но не прошло и минуты, как он вновь заговорил:

– Конечно, если мы выберемся, – зло прищулив свои маленькие глазки, стараясь оправдаться, пробормотал он, – то его смогут спасти. Да, но как мы выберемся? Все разбежались. Наступали, наступали, а теперь – полный назад. – Он хотел ухмыльнуться, но сдержался.

На его слова никто не среагировал. Все продолжали молчать. Не до него было: каждый был занят своими мыслями. Никто из воинов не знал, что ждет их впереди. Конечно, они понимали, что особой надежды на выход из создавшегося положения не было: настолько быстро и неожиданно крупными силами пошли фашисты в контрнаступление, что теперь только чудом могли они пробиться к своим. Но пока все шло без осложнений, не считая нескольких случайных, как им казалось, облетов вражескими самолетами их товарняка.

– Ну что же это такое? – вновь неожиданно резко в стоявшей тишине раздался вопль того же Якубова. – Дышать нечем. Нам же еще воевать. Мы можем заболеть... Куда это годится! Э-эх! – и Якубов рубанул рукой воздух и с отвращением прикрыл ладонью нос.

Никто не спрашивал у Якубова, что же он хотел предложить, но намеки его постепенно стали всем понятны – сбросить с поезда тяжелоране-

ного солдата. Дышать было тяжело и нестерпимо всем, но решиться избавиться от своего раненого товарища подобным образом – это было сверх их силы, просто не по-человечески, не по-солдатски. Поначалу никто особенно не обвинял в душе этого Якубова за его ворчание, но когда тот стал проявлять настойчивость, поняли – перед ними сидит жестокий и мерзкий человек.

Между тем, тяжелораненый боец очнулся и еле слышно протянул: “Пи-и-ть”. Несмотря на то что вода у всех была на исходе, один из солдат, сидевший рядом, открыл флягу и стал вливать ему в рот воды. Сделав несколько жадных глотков, тяжелораненый снова потерял сознание.

То ли чувствуя, что все с ним согласны, то ли набравшись смелости, Якубов снова завопил:

– Да не жилец он, вы же сами видите. И он спокойно умрет, и... нам будет чем дышать...

Не успел он закончить фразу, как страшный удар в лицо потряс его. Удар этот нанес ему, сидевший справа от него черноволосый, с орлиным носом солдат Ройтман.

– Ну, подожди, сволочь! – сплевывая кровь изо рта и придя в себя, пригрозил Якубов и своими маленькими глазками впился в Ройтмана.

– Замолчи, гад! – прикрикнул на него с ненавистью Ройтман, схватившись за автомат.

Никто Ройтману не сделал замечания. Командир роты лейтенант Федоров, сидевший с закрытыми глазами, открыл глаза, повернулся в его сторону, посмотрел на него не то с удивлением, не то с восхищением, а потом опять закрыл глаза, как будто бы ничего особенного и не произошло.

Сзади Ройтмана полужелезал сержант Оганесян. Он в знак солидарности крепко пожал локоть Ройтману и тихо произнес: “Правильно, Иосиф. Молодец!”

Поняв, что никто из товарищей его не осуждает, Ройтман немного успокоился. Чтобы совсем снять с себя волнение и отвлечься от посторонних мыслей, он достал последнее письмо жены Берты и стал, в который уж раз, читать его сосредоточенно. “Дорогой Еся, – писала она, – ты за нас не переживай. Мы живы и здоровы. Если не считать временные недомогания матери. Но она молодец: держится. Страшные дни, когда фрицы рвались к нашей нефти, миновали. Теперь вон куда вы их погнали! Аж за Ростов. Гоните и дальше этих поганных псов с нашей земли! Да, недавно получила письмо от своей двоюродной сестры Лии из Ростова. Живы! А как мы тут с мамой пострадали за них, когда у них немцы были. Думали, расстреляли их. Чудом, говорит, остались живы с детьми: все это время соседи прятали их у себя. Аркадий на фронте. Так вот она рассказывает, как фашисты

зверствовали в Ростове. В одном только зоологическом саду захоронено 14 тысяч расстрелянных евреев... Еся, милый, волосы дыбом встают: женщины, дети, дети... Что ж делается, Еся! А? Неужели не отомстите гадам проклятым? А еще пишет Лия, как наши же при освобождении Ростова угодили снарядами в жилой дом. Целую неделю, говорит, плач стоял на той улице. И это перед самым освобождением! Вот что делает война, Еся. Наши советские люди между двумя огнями находятся: фашисты наступали – бомбили, наши наступают – тоже бомбят. Горе, Еся. Всенародное горе. Сколько же лет придется его оплакивать?! Бейте ненавистных врагов. Не жалейте их, гадов. Ожесточились и мы в тылу. Ох, как ожесточились! Если бы только не старая и больная мать и наш маленький Давидик, взяла бы в руки винтовку. Взяла бы, Еся! Поверь! Но не могу – руки связаны. Потому и злюсь крепко. Удесатерите свои силы, родные наши, и бейте врагов!

Прошу тебя, Еся, за нас не переживать. Мы тут всем двором живем единой семьей. Если маме нездоровится, за Давидиком присматривает соседка Шафига. А я ж на работе, ты знаешь. Как я ей благодарна за помощь! Все соседи тебе огромный привет передают. Каждый раз спрашивают, нет ли от тебя весточек. Все стараются успокаивать друг друга, потому и держатся стойко.

Целуем тебя, дорогой наш. Возвращайтесь с победой. Пиши по возможности чаще. Твоя Берта.”

Не успел Ройтман дочитать письмо, как товарняк резко качнуло. Затем он еще немного медленно пополз и вдруг с грохотом и лязгом остановился.

– Комбат Ростовцев в каком вагоне? – сразу послышалось где-то впереди.

– В середине состава ищи, – посоветовал один.

– Да нет, он где-то рядом должен быть, – подсказал другой.

– Отсчитай еще два вагона от нас слева, вот в третьем и должен находиться товарищ комбат, – уточнил третий.

– А что случилось? – спросил солдат с открытой платформы.

– Чего остановились! – ни к кому не обращаясь, удивился его сосед.

– Вы что? Вы что, спрашиваю? В плен захотели? – вдруг неестественно громко, истошным голосом закричал один из бойцов, сидящий у дверей соседнего вагона.

Он соскочил на землю и, обращаясь к тому, кто спрашивал командира батальона, еще громче, чем прежде, крикнул:

– Двигайте, говорю! Надо быстрее к своим попасть!

– Легко сказать – к своим, – ответил кто-то спокойно. – Где они – свои? Кто знает, может, мы давно уже у ловушке. Мы ведь, наверное, и

десяти километров не отъехали от узловой станции. А они, ты сам видал, как напирают.

– Ты, приятель, впредь панику не создавай, – обращаясь то ли к тому, кто говорил о ловушке, то ли к тому, кто требовал двигаться дальше, строго предупредил своим простуженным голосом старшина Москаленко.

Ройтман спрятал письмо и теперь чутко прислушивался к голосам. Когда он услышал истеричный крик солдата, требовавшего немедленно двигаться дальше, он интуитивно уловил, что, во-первых, солдат этот очень молод, и, видимо, только недавно прибыл в часть, и бой за узловую станцию был, наверное, для него первым страшным боем, что, во-вторых, он наверняка очень боится попасться в плен, что, в-третьих, окажись тот в плену и допроси его фашисты, он не выдержит и все, что знает, выложит. “Такие тем более для разведки никуда не годятся”, – мысленно заключил Ройтман.

Конечно, основания для сомнения, что уже, быть может, они в ловушке, были. Все знали, что немцы во время предпринятого контрнаступления на этом участке фронта быстро продвигаются вперед и могут в любой момент выйти теперь и к железной дороге, где остановился товарняк.

– Так чего остановились? – вновь затрещал молодой истеричный голос.

– Топливо кончилось, – спокойно и как-то безразлично ответил кто-то спереди.

На минуту наступила ошеломляющая тишина. Комбат Ростовцев и батальонный комиссар капитан Байрамов стояли внизу у своего вагона и раздумывали над тем, что можно в данной обстановке предпринять. Высокий, стройный, подтянутый майор Ростовцев стоял озабоченный создавшимся положением. За последние дни он буквально на глазах постарел: выглядел старше своих 45 лет. Воины любили своего командира батальона. И за его храбрость, и за его простоту и строгость, и за то, что он берег их, и за его человечность... Глубоко уважали в батальоне и своего комиссара, капитана Байрамова. Лет сорока, среднего роста, с темно-каштановой шевелюрой, с темно-кариими глазами, он был очень подвижен, энергичен.

– Придется отступить в этот лес, товарищ майор, – первым заговорил Байрамов, указывая в сторону леса.

– Я об этом и думаю, – рассеянно произнес комбат. – Беда в другом, как быть с ранеными? Где взять столько носилок? Их более ста человек и среди них много тяжелораненых, – он вытер платком пот со лба и с шеи. – Ты же знаешь, что ради них и отправили так спешно сильно потрепанный батальон в тыл. Задание же, помнишь, какое было: довести ране-

ных до медсанбата дивизии, а всем остальным идти в резерв. – Он помолчал, подумал о чем-то и добавил:

– Может, успеем нарубить в этом лесу дров для топки паровоза? Нам бы еще километров шесть-семь отехать. А здесь, наверное... – он не договорил, быстро согнул ногу в колене, положил планшет, развернул карту, посмотрел и сказал: – В километре отсюда Петровка – ключ к узловой станции. Немцы, наверное, ее уже захватили. – Потом ткнул пальцем в другую точку и заключил – и Федоровка, наверное, снова у них в руках... И Березовка...

В следующее мгновение он быстро поднял глаза к небу, убрал планшет и неожиданно резко сказал:

– Ни в лес отойти не успеем, ни дров нарубить. Слышишь рев моторов, капитан?

– Да, слышу. Думаете, атакуют?

– А куда они денутся? – мрачно произнес майор Ростовцев. – Все. Началось.

Когда в чистом небе маленькими точками слегка обозначились контуры фашистских самолетов, кто-то из бойцов зычным голосом выкрикнул: “Во-о-здух!”

Не успел этот сигнал тревоги отчетливо дойти до сознания воинов, как другой голос громко объявил: “Не-ем-цы! Не-е-мцы справа!”

Из-за небольшого перелеска сплошной лавиной прямо к товарняку двигались немецкие автоматчики.

– Значит, они все же успели захватить Петровку, – подтвердил свое прежнее предположение майор Ростовцев.

Самолеты приблизились. Они сначала совершили облет состава, затем вновь повернули к нему и с небольшой высоты начали обстреливать его.

– Занять позиции! – громко скомандовал комбат.

– Старшина Москаленко, давайте взвод сюда, – приказал капитан Байрамов.

Одни воины заняли позиции под вагонами на шпалах, другие прямо на платформах, третьи на крышах. К бою приготовились и те из раненых, кто мог держать в руках оружие.

Тем временем вражеские самолеты еще раз надвинулись на товарняк, обстреливали его и улетели.

* *

Якубов и ефрейтор Петренко оставались в вагоне. Расположившись рядом, они изучающе, как будто впервые видели друг друга, зыркали глазами. Взгляд каждого из них как бы спрашивал: “А почему ты не выскочил из вагона?” Как только началось сражение, Якубов быстро-быстро заговорил: “Ну что? Сдадимся?” Петренко в знак согласия энергично кивнул головой. – “Тогда лежи и молчи!” – властно приказал Якубов. А про себя с радостью подумал: “Ну, наконец!” Он лег на спину, посмотрел на небо и молитвенно провел ладонями по лицу. “Как я ждал этого момента! – вместо молитвы шептал он в сильно-возбужденном состоянии. – Вот теперь я попаду к своим родным в Турцию. Сбудется наконец моя давняя мечта!”.

Всю жизнь ненавидел Якубов Советскую власть. Тихой сапой жил он в чужой для него стране и все время терпеливо ждал своего дня. Эта ненависть передалась ему с самого детства от деда и других родственников, которые еще в начале двадцатых годов убежали за границу. Они, конечно, взяли бы и их с собой, но отец тогда сидел в тюрьме за убийство милиционера. Там он потом и умер. Мать же со временем вышла замуж за другого. Отчим не очень жаловал его и называл маленьким барсуком.

Он, Якубов, хотел конечно и раньше переметнуться к фашистам, но все складывалось как-то не в его пользу. Он пытался притворяться погибшим, чтобы потом при отступлении своих остаться в поле боя, а потом сдаться. Но так уж получалось, что о нем проявляли ненужную заботу, и ему приходилось отходить со “своими” Ему казалось, что все бойцы догадываются о его намерениях. Поэтому он злился, сжимал в ненависти кулаки, временно откладывая свой переход.

Он, Якубов, твердо знал, что ему надо. А что нужно было этому трусливому, рыжеволосому молокососу Петренко? Якубов решил об этом с ним поговорить позже. Сейчас для него важно было дожидаться конца боя и сдаться. А что немцы разобьют ихних, он ни на минуту не сомневался.

Тем временем Петренко продолжал сидеть на своем месте – в углу вагона, как запуганный и загнанный зверь. В его жизни наступал переломный момент: он дал Якубову согласие не только сдаться, но, выходит, и верно служить фашистам. Он сидел бледный, губы у него дрожали, в горле пересохло. Со лба обильно струился пот, а он от излишнего волнения его даже не вытирал. Со стороны могло показаться, что он плачет, и слезы по капле стекают с его лица. Якубова он не любил. Больше того, он его даже ненавидел. Но какая-то внутренняя сила тянула его к нему, страшному и жестокому человеку. Иногда он побаивался его, но с другой стороны, чувствовал, что именно такой человек, как Якубов, нужен был ему для защиты от других.

...Бой утихал. Только изредка раздавались теперь автоматные очереди. “Раненых, наверное, добивают”, – решил Якубов. Его чувства и мысли настолько были заняты реальной возможностью сдаться в плен, что он на время забыл и о запахе, исходившем от раны тяжелораненого солдата, и вообще о всех них, лежащих здесь и стонущих от боли и страданий. Только тогда, когда он произнес про себя “раненых добивают”, вспомнил о тяжелораненом бойце, которого готов был выбросить из вагона. Он зло прищурился, подошел к нему, лежащему без сознания, и дал в него очередь из автомата. “Пусть спасибо скажет, что избавил его от мучений”, – вслух, как бы оправдываясь перед Петренко за свою жестокость, все еще сверля раненого диким, ошалелым взглядом, процедил сквозь зубы Якубов. В эту минуту ему показалось, что вот так просто, безжалостно он сможет рассчитаться и с Советской властью за своих родных, которые вынуждены были бросить свои состояния и убежать за границу, за свою судьбу сироты... “Ничего, вон немцы опять успешно наступают по широкому фронту”, – утешал он себя мысленно. Потом оторвал взгляд от расстрелянного воина, посмотрел на остальных тяжелораненых, хотел направить автомат и на них, но потом раздумал и со злостью в голосе жестко пробормотал: “Ну, а эти пусть сами подышают”. Резко отбросил в сторону автомат, вытер руки о край рубахи, будто они у него были в крови, посмотрел сощуренными от ярости мышиными глазами на Петренко, разинувшего от страха и его крайней жестокости рот. Узкий лоб Якубова, его узкие маленькие глазки, большой мясистый нос и страшно волосатые, большие, как лохмотья, уши – все налилось кровью от бешенства и гнева и побагровело.

– Брось автомат! – приказал он Петренко. – Он больше не пригодится. И посмотри, прикончили наших или нет.

Петренко осторожно выглянул из вагона и, заметив, что немцы идут прямо к их вагону, в ужасе, заикающимся голосом пролепетал:

– О-они сю--юда и-идут. Ра-рас-стре-ляют на-ас. – И он весь затрясся от страха и протянул к Якубову руки, как бы прося о защите.

– Не бойся, дурак. Все будет хорошо! – успокоил его Якубов. – Подними руки и иди за мной!

Когда часа через два неравная схватка закончилась, гитлеровцы пристрелили всех тяжелораненых, выстроили пленных, сосчитали их и повели в сторону перелеска. На краю деревни пленных затолкали в какой-то барак и заперли за ними двери.

Якубов и Петренко, притулившись рядом, прижались в угол. Теперь они с нетерпением ждали, когда можно будет предложить немцам свои услуги. Попасть в плен – это было только первоочередной их задачей. Они

знали, что потом надо будет верно служить тем, кто затем даст им долгожданную свободу.

Утром немецкий обер-лейтенант приказал пленным выйти и выстроиться.

– Не забывайте фляга, – предупредил он. – Вам будет давать вода.

Очередь к одной-единственной колонке, откуда чуть ли не по капле шла вода, продвигалась медленно. Иосиф Ройтман видел, как Якубов одним из первых наполнил флягу и отошел в сторону. Теперь он внимательно следил за всеми действиями Якубова, сознавая, что тот может в любой момент выдать его, еврея, немцам. Сам Ройтман стоял в очереди за сержантом Оганесяном. Вдруг Оганесян резко согнулся, схватившись за живот обеими руками и, глядя на Ройтмана снизу вверх страдальческими глазами, приглушенно попросил:

– Иосиф, протяни время в очереди... я сбегая в туалет. Я понимаю, немцы зря не дадут стоять в очереди, но ты постарайся...

Ройтман в знак согласия кивнул головой, и Оганесян исчез. Ройтман набирал воду, когда вдруг заметил, как Якубов в дальнем углу что-то шепчет немецкому офицеру. При этом он показывал рукой в сторону колонки. Сомнений не было: тот, решив отомстить ему, сообщает офицеру, что он – еврей. Офицер подозвал к себе двух эсэсовцев и, что-то приказав, направил к колонке.

Пока обер-лейтенант давал распоряжения, в очередь вернулся Оганесян. Ройтман, набрав воды, быстро уступил ему место, а сам метнулся назад, стараясь скрыться за медленно движущейся очередью. Тем временем два дюжих эсэсовца, не торопясь, подошли к Оганесяну, уже набравшему воду, выбили прикладом автомата из его рук флягу и повели к офицеру.

Обер-лейтенант, заглянув в глаза Оганесяну, спокойно, но жестко спросил:

– Юде?

– Что вы, господин обер-лейтенант! – сразу запротестовал Оганесян.

– Признавайте, юде? – так же спокойно, но уже с нотой угрозы повторил обер-лейтенант, поглядывая на кучерявую шевелюру Оганесяна.

– Нет, нет, – быстро заговорил Оганесян. – Найн, найн, – для пушей убедительности залопотал Оганесян на немецком. – Не веррите, спрросите у них, – и Оганесян указал рукой на пленных товарищей, стоявших в очереди у колонки.

Ройтман представил себе положение своего фронтового товарища и понял, чем оно может для него закончиться. Особенно обеспокоило Ройтмана внешность Оганесяна. “Ни дать, ни взять, вылитый еврей”, – подумал

он. У Оганесяна было смуглое лицо, небольшой, но с горбинкой нос, кудрявые, жгуче-черные волосы. И к тому же, когда он сильно волновался, почему-то картавил. И поэтому те, кто не знал о национальном происхождении Оганесяна, смело могли принять его за настоящего восточного типа еврея. Обычно смелый и решительный, Оганесян тут, перед угрозой реальной смерти, выглядел немного растерянным. Но несмотря на свое тяжелое положение, продолжал упорно настаивать на том, что не еврей. Хотя он и находился сейчас в роли беззащитного, обезоруженного пленного, и сознание собственного бессилия угнетало его, он все же настойчиво и довольно темпераментно продолжал твердить, что обер-лейтенант ошибается.

Оганесян да и другие советские воины знали, как порой, приняв за евреев, расстреливали людей и других национальностей. Оганесян, поняв, что сейчас и он по недоразумению будет немедленно отведен в сторону и расстрелян, повернулся к очереди, как бы ожидая, что кто-нибудь ему придет на помощь. Но никто из его товарищей и не догадывался о том, почему его, Оганесяна, повели к офицеру. Догадывался об этом только один человек: Ройтман.

Ройтман продолжал стоять за спинами товарищей. Он жадно отпил воды из фляги – в горле пересохло от жажды, напряжения и волнения – и теперь судорожно думал над тем, как спасти Оганесяна от неминуемой смерти. Он понимал, что в данной ситуации выручить Оганесяна мог только он один. Сознавал, что сделать это сможет не без определенного риска для себя. “Я черноволосый, кудрявый и смуглый на лицо, похож на кавказца, как и Оганесян, – взвешивал он все за и против. – И я и Оганесян хорошо говорим на азербайджанском языке. Но если Якубов еще раз доложит, то ... – Ройтман не закончил свою мысль: не хотелось думать о самом худшем варианте. В следующую минуту он все-таки решил предстать перед гитлеровским офицером.

– Господин, обер-лейтенант, он не еврей, – выкрикнул Ройтман, буд-то выросший из-под земли. – Он армянин. Его фамилия Оганесян. Оганесян. Хотите, я поговорю с ним на армянском языке? – И он, не дожидаясь разрешения, начал быстро и с большим волнением объяснять Оганесяну на азербайджанском языке, как и почему его, Оганесяна, потащили сюда. И вдруг глаза у сержанта просветлели. Он на минуту забыл и о боли в животе, и о страхе за свою жизнь и теперь смело глядел прямо в лицо офицеру, как будто говоря, что вот видите, я же вам говорил... Затем с удивлением спросил Ройтмана, как тот, будучи евреем, рискнул сюда подойти.

Немолодой немецкий обер-лейтенант с широко раскрытыми от удивления зрачками смотрел то на одного, то на другого из них. Его край-

не удивила и обескуражила решительность советского военнопленного. И он теперь не знал, возмущаться ему или улыбаться. Он явно с удовольствием слушал, как двое чернявых кавказца не без некоторого волнения лопочут на непонятном для него языке. Настолько быстро и неожиданно все это произошло, что ему и в голову не пришла мысль, как второй пленный мог догадаться о содержании его разговора с первым.

Когда наконец Ройтман и Оганесян, наговорившись, закончили свою оживленную беседу, офицер, прохихотав от удовольствия несколько минут, довольный своеобразным представлением, небрежно махнул им перчаткой, дав понять, что они оба могут убраться. Затем, успокоившись от смеха, вытерев слезу, обер-лейтенант вспомнил о том, кто дал ему ложное сведение и приказал привести его к нему.

Уже издали, на обратном пути в барак, Оганесян и Ройтман наблюдали за тем, как те же два эсэсовца били Якубова. Оба фронтовых товарища после каждого выкрика Якубова в такт ударам произносили: “Так тебе, сволочь! Так тебе, предатель!”

*

И в ту вторую ночь военнопленные не могли уснуть. Не до сна было людям, так нелепо и неожиданно оказавшимся в ловушке. Был приказ временно отступить – и их сильно потрепанный батальон в спешном порядке вместе с сотней раненых погрузили в этот товарняк и отправили в путь. А куда и зачем – об этом знали, говорят, только комбат Ростовцев и замполит Байрамов.

Рядом с Ройтманом и Оганесяном, неестественно ссутулившись, сидел их молодой командир роты лейтенант Федоров и все еще машинально трогал свою шишку на голове: она сильно набухла у него. Оганесян вспомнил, как лейтенант в схватке с фрицем катался с ним по траве, как командир роты уже одолевал фашиста, но тому на помощь подоспел другой фриц, который сначала хотел выстрелить в Федорова, но потом раздумал и, размахнувшись, ударил его прикладом автомата по голове. Так оглушенного лейтенанта и взяли в плен.

Федоров то и дело, уже в который раз спрашивал у воинов: – Ребята, что произошло с майором Ростовцевым и капитаном Байрамовым? Оганесян об этом ничего не знал, а Ройтман вопросов лейтенанта не слышал – он, быть может, один на весь барак спал – нервы не выдержали утреннего перенапряжения.

“Что ж, выходит, один я из офицерского состава и остался!” – не дождавшись ответа на свой вопрос, рассуждал про себя лейтенант Федо-

ров. Знал Федоров о том, что командиры двух рот погибли еще там, на узловой станции. Другого в самом начале сражения тяжело ранило и его отправили в медсанбат дивизии. А трое командиров рот погибли уже здесь, у товарняка... Погибли замполиты, парторги, политруки, комсорги рот и взводов... "От батальона, – продолжал размышлять Федоров, – по сути дела ничего не осталось. А что с другими батальонами? Где они сейчас? Успели ли отступить? Неужели никто не знал и не ожидал такого крупномасштабного контрнаступления!? Что-то не пойму я ничего"

Потом лейтенант посмотрел на воинов, сидящих в бараке, как бы считая, много ли их осталось, и подумал про себя: "Но что могу я для них сделать? Вот выстроят завтра всех нас и прикажут: коммунисты, евреи и офицеры, шаг вперед! И куда мы денемся? Да никуда. Вон Якубов, предательская его душа, хотел же выдать Ройтмана. В отместку за удар!? Но и подлый же человек. Так он первый и укажет на всех нас."

"Сколько же среди нас коммунистов? – думал Федоров. – Наверное, человек пять-шесть осталось. А я так и не успел вступить в партию"

Вспомнил ребят из горкома комсомола, где был вторым секретарем. "Где сейчас первый, вездесущий Витя Герасимов? Где остальные ребята? Что с ними? Как-то сразу разошлись наши пути. Я оказался в Баку, Витя, кажется, в Ставрополе, Валя Бондаренко, заворотделом, перед самой войной замуж за летчика вышла. А что и где теперь она – неизвестно. – Федоров тяжело вздохнул, задумался и заключил: никакой связи ни с кем."

Затем мысленно оказался в своей родной школе, в которой сначала учился, потом после окончания института в Ставрополе преподавал историю. Хотел было в школе вступить в партию – в горком взяли, здесь собирался стать членом партии – в училище направили. В первый год войны, а потом и на втором году подготовил документы – все как-то не получалось: то отступали, то потом наступали. Сначала назначили командиром взвода, затем роту дали. Ройтман, капитан Байрамов и Оганесян уже было и рекомендации написали ему, но... вот в плену теперь оказались.

"Если удастся освободиться отсюда, так, не откладывая, при первой же возможности вступаю! – твердо решил Федоров. – Прав был Оганесян, когда говорил, что командир должен быть коммунистом. Просто обязан! И что в то же время не любой коммунист может стать настоящим командиром."

Одни мысли вытесняли другие. То лейтенанту хотелось знать, что произошло с комбатом Ростовцевым и замполитом Байрамовым, то интересовала его мысль, как и почему предателя Якубова вновь вернули в барак. "Неужто немцы думают, что никто из них не догадался о его сообщении?" – думал он. То Федорова волновал вопрос, что с ними дальше будет,

то вдруг он вновь останавливался на поведении Якубова. “Ну, поругались – и баста. Ведь неправ же, сволочь! И неужели из-за этого надо было товарища выдавать? Вот предатель! И как только такие рождаются? Или ими становятся? Но как? Где? Почему?” – Федоров ставил перед собой массу вопросов, на которые не находил ответов. Мозг его от перенапряжения устал. “Предатель...” Это слово крутилось и крутилось у него в голове. Он хотел отвязаться от него, выбросить прочь, но оно навязчиво и неотступно преследовало его. “Устал, вот и прилипло оно ко мне”, – подумал Федоров. Вот так всегда. Стоило ему еще в школьные, а чуть позже в годы учебы в офицерском училище услышать какую-нибудь хорошую песню, так потом долгое время отдельные ее слова преследовали его. И он, не вдаваясь ни в смысл, ни в содержание слов, напевал их про себя почти автоматически. И много, много раз. Одни и те же слова, одни и те же... Вот и сейчас. Слово предатель осело у него в голове, крутилось, вертелось, не давая покоя. А почему, сам Федоров не знал и не понимал. Незаметно для себя мысленно оказался в своем родном городке на Ставрополье. Представил себе старую мать, стоящую у калитки дома. Вот появилась девушка-почтальон и грустно, поприветствовав мать, с тяжелым вздохом произнесла: “Нет вам, Никитична, сегодня ничего. Некогда Ивану – воюет”. – “Тогда, дочка, возьми письмо, брось в ящик”. И постоит мать так у калитки еще долго, наблюдая, кому из соседей девушка вручит письмо. Потом, когда почтальон исчезнет с поля зрения, глубоко вздохнет и нехотя отправиться в хату. А что в хате-то делать? Отца давно не было в живых – помер от болезни печени. Сестра в Ставрополь замуж вышла. А он на войне. Вот и вся семья.

Вспомнил Иван Федоров про то, как мать в одном из писем рассказала ему, что соседка Клава, не дождавись мужа Петра с фронта, вышла замуж за другого, заезжего. И не то чтобы замуж вышла, а просто привела в дом и живет с ним. “Вот предательница!” – почти вслух заключил Федоров. Потом спохватился, посмотрел на сидевших рядом воинов, чтобы понять, услышали они его слова или нет. Успокоившись, что никто и не обратил внимания, поймал себя на мысли, что на ум снова пришло слово предатель. И вдруг обрадовался, что наконец-то нашел объяснение своему состоянию. Сделал вывод: “Клавка – предательница! Вот почему это слово мучило меня!”

Расказывала мать, что отмалчивается Клавка, не отвечает на письма Петра. “Каково же должно быть Петру? На войне? Ну, не стерва ли?” – возмущался он про себя.

Писала мать, что соседки не раз делали Клавке замечания. Но куда там – бесполезно.

– Клав, ты что ж это, а? При живом-то муже!?

– Чего вы от меня хотите? Завидуете что ли? И что вообще всем вам надо?

Да и не делали бы соседки замечания Клавке – больно всем она нужна была, – да Петра жалели – на фронте ведь человек! Остервенеет парень и полезет напролом на фрицев. Никуда это не годилось. Другое дело, когда при оккупации с немцем-постояльцем сожительствовала. Бог с ней. Гуляла – и баста. Вернулся бы Петр и, узнав, может быть, простил бы. А сейчас чего с ума сходит? С цепи что ли сорвалась? Невтерпеж что ли? Терпят же другие! А она, бесстыжая, на всю улицу ошалело всем в лицо бросает:

– Жизнь моя, что хочу, то и ворочу.

– Но скоро юнец войне. Потерпела бы что ли, – постарается урезонить ее петрова кума Марья Савельевна.

– Конец? Когда придет он? Может, кто из вас скажет, когда конец? – кричала она, нагледя с каждым днем.

И соседки, и петрова кума, не зная, что и как ответить на этот затруднительный для них вопрос, сникали и молча расходились по хатам. И выходило, что Клавка права в своем грязном поведении. А, почувствовав правоту, вдогонку кричала им:

– Я не хочу ждать, слышите! Я – молодая и здоровая. Понятно? И уже, громко всхлипывая, то ли от бессилия и стыда, то ли от неправоты своей, жалобно просила:

– Оставьте вы меня... и не осуждайте!

Такая озлобленная ходит после этого, – продолжал вспоминать Федоров слова матери. “От прежней Клавки, озорной и веселой хохотушки, ничего не осталось. Сторонится всех. Как загнанная стала. Ожесточилась. Вот что, сынок, война делает с людьми. Все по полочкам разложила. Тогда не выдержала петрова кума Марья Савельевна и прописала Петру на фронт все как есть. “А зря она так поступила”, – решил Федоров. И просила Марья Савельевна Петра, чтобы он близко к сердцу не принимал ее измену. И что, выходит, не любила Клавка его вовсе. И туда, мол, ей дорога. Убеждала Марья Савельевна Петра в том, что когда вернется, сможет жениться на любой городской красавице. А что до Клавки – то бог ей судья. Пусть, мол, живет, как знает”

Говорят, сынок, рассказывала мать, чтобы после такого письма Петр зазря голову под пули не подставил, заводская сослуживица его на фронт письмо ему отправила. И писала та сослуживица Петру: “Петя, дорогой! Ты, наверное, удивляешься моему письму: как, мол, вдруг это я!? Ты никогда не думал, что я могла тебя любить? Вот ты женился на Клавке, а я

все думала, что недостойна была она тебя, что счастье обошло меня стороной. Ведь нравлюсь я тебе!? Я догадывалась об этом. Но ты почему-то не посмел ни разу об этом сказать. Думал, что получишь от ворот-поворот? А зря! Смелости не хватило тебе. С вертлявой Клавкой, конечно же, намного легче было тебе объясниться. Верно говорю? Здесь в этом вопросе смелость не смог проявить, а на войне, говорят, ты отважно сражаешься! Орденов сколько получил, говорят! Ну, а насчет Клавки – выбрось из головы. Не чета она была тебе. Вот так! Если по душе тебе, Петр, мое откровение, пиши. Буду ждать. Сохраняй себя. Зинаида.”

Одни, сынок, говорят, – продолжала мать, – что та девушка действительно из-за любви так поступила. Другие судят, будто бы успокаивала она Петра, чтобы, очертя голову, под пули-то не лезь. Потом по-разному поговаривали люди. Но как бы то ни было, сынок, молодчика дивчина! Вот бы и тебе такую, Ванюша! Добрую, верную и смелую! Вот как, сынок, война всех на прочность проверила. Испытала – как через ситечко просеяла.

* * *

Вспомнил все это Федоров – и невеселые, тревожные мысли пошли гулять в голове. Подумал о нынешнем своем положении, тяжело вздохнул. Но через минуту сразу переключился и обратился к все еще мучавшемуся от боли в животе Оганесяну: “Позови старшину Москаленко” Оганесян передал просьбу лейтенанта соседу. И по цепочке пошло: старшину Москаленко к лейтенанту. Полусогнувшись, боясь задеть головой за балки, старшина Москаленко пробрался к командиру роты, пристроился рядом с ним и на его вопрос, что произошло с майором Ростовцевым и капитаном Байрамовым, своим сиплым голосом доложил: “Я был рядом с майором, когда начался рукопашный бой”

Грузный, высокий, Москаленко тяжело дышал. В рукопашном бою два фрица навалились на него, сбили его с ног и так придавили к земле, что уже вторые сутки ныло тело, болела грудь. “Я был рядом, – повторил он в задумчивости, но помочь, к сожалению, ему не мог – сам прикладом автомата отбивался от двух здоровенных фашистов. А на майора напали сразу трое. Одного он тут же уложил. Его, конечно, могли убить тут же, но, видимо, фрицы хотели живым взять советского офицера. Поняв, что ему не сладить с двумя гитлеровцами, майор на секунду вырвался из их цепких объятий, и в следующее мгновение я услышал выстрел. Думал, убили-таки его немцы. Но когда меня, обезоруженного, заставили поднять руки, я услышал, как один фриз громко ругал другого, мол, почему не по-

старался взять офицера живым. Вот тогда я понял, что товарищ майор, не желая сдаваться в плен, застрелился.”

На минуту Москаленко замолчал. Потом тяжело вздохнул, посмотрел по сторонам, отыскивая кого-то, и добавил: – Капитан Байрамов погиб чуть раньше. Он лежал недалеко от майора. Я его потом увидел, когда меня уводили.

Москаленко еще раз обвел взглядом сидящих в бараке, припоминая что-то, потом резко встрепенулся, долго и внимательно посмотрел сначала на Оганесяна, затем перевел взгляд на спавшего Роймана и медленно, раздумывая о чем-то, протянул: “Постойте, постойте... Когда я обернулся еще раз, то заметил, как кто-то из наших кавказцев доставал у них документы. По-моему, это бы-ы-ыл, – и он сначала вновь остановил взгляд на Оганесяне, потом на Роймане и обрадованно своим приглушенным голосом произнес: “Да это и был Ройман! Вспомнил!” И он легонько, чтоб не испугнуть спящего Роймана, толкнул того в бок..

Ройман спал беспокойно. То ему снилось, что в бараке открывается дверь, и Якубов, указывая на него пальцем, направляет к нему двух эсэсовцев. То ему снилось, что он в родном Баку, на своей улице. Вот жена Берта, держа за руку пятилетнего сына Давида, спешит куда-то. То он четко представлял, как при отступлении из Севастополя, случайно встретил младшего брата Арона, которого он горячо и нежно любил. Отчетливо вспомнил разговор, состоявшийся между ними.

– Арон, родной мой, переходи к нам в батальон. Я грудью буду тебя защищать, слышишь?

– Не могу, брат, не могу. Пойми меня. Скоро все опять соберутся по своим полкам, батальонам. Я коммунист. Я офицер. Я замполит. Понимаешь? Не-е-льзя.

Так и разошлись затем их фронтовые дороги. А потом из дома пришло письмо, в котором Берта сообщала о смерти его любимого брата Арона. И в письме этом жена просила его отомстить фашистской нечисти и за брата, и за всех советских людей.

Вдруг он вздрогнул от толчка в бок и тупо, ничего не понимая, уставился на Москаленко, продолжавшего толкать его, приговаривая:

– Да проснись же ты, – мягко просил его Москаленко хриплым, простуженным голосом.

Убедившись, что Ройман наконец-то проснулся, суетливо, боясь, как бы вновь тот не заснул, спросил:

– Документы майора Ростовцева не ты доставал?

Вместо ответа, еще до конца не придя в себя после тяжелого сна, Ройтман медленно засунул руку куда-то между ног, вытащил оттуда сверток, раскрыл его перед лейтенантом Федоровым и доложил:

– Товарищ командир роты, один фриц хотел вытащить документы из кармана командира батальона. В суматохе мне удалось прилечь в яме и притаиться. Как только фашист полез в нагрудный карман товарища майора, я выстрелил в него. Второй, не поняв, откуда стреляли, бешено повернулся и повел из автомата беспорядочный огонь. Он крутился на одном месте. Как только он оказался спиной ко мне, тут я и его уложил. Забрал я документы майора и капитана, чтобы фрицам не достались. А я попался после, в рукопашной. А документы вот в целости и сохранности.

Потом долго молчали. Вспоминали своих погибших командиров, товарищей... После затянувшейся паузы лейтенант Федоров шепотом произнес:

– Ты знаешь, – обратился он к Ройтману, – Якубова затолкали в барак. Вон он там лежит, – и он указал взглядом в угол барака. – Не заслали ли его специально? Посмотрел еще раз на документы майора и капитана и в задумчивости добавил:

– А за документы спасибо! На, спрячь. В другое время представил бы к награде. И за документы, и за убитых гитлеровцев, и за спасенного Оганесяна...

Затем непонятно чему, лейтенант вдруг широко улыбнулся и, покачивая в знак удивления головой, сказал не без восхищения:

– Ну, как ты его, а?! С полминуты он от твоего удара в себя прийти не мог. Ну, и здоров ты, дружище!

Сказав все это, Федоров в следующую минуту неожиданно помрачнел и уже изменившимся тоном с грустью проговорил:

– А завтра, дружище, нам с тобой, наверное, какую, Понимаешь? – Помолчал, ожидая реакции на свои слова, а потом продолжил:

– Если что, отдашь документы Оганесяну или Москаленко.

Ройтман понимающе кивнул головой.

* * *

А с Якубовым после неудачного предательства произошло следующее. За обман его избили, а затем по приказу майора, которому уже доложили об этом случае, под конвоем обер-лейтенанта и тех же двух эсэсовцев повели в комендатуру. Майора почему-то заинтриговал факт такого быстрого и неожиданного предательства со стороны советского военнопленного. Да еще, собственно говоря, в тяжелые для немецкой армии вре-

мена и успешном в целом наступлении советских войск. Майор попросил принести Якубову стакан водки. Когда тот выпил, предложил ему закуску и сигарету. И Якубов коротко, но внятно постарался объяснить майору причину своей измены. Рассказал он и про намерения ефрейтора Петренко. Затем, молитвенно проведя ладонями по лицу, прищулив и так маленькие свои зрачки, он поклялся именем бога, что с евреем произошла ошибка, что вместо него схватили армянина, что тот, который защищал Оганесяна, и был евреем. Ему поверили и решили забросить в барак для подробного изучения настроения пленных и уточнения количества коммунистов и евреев. А чтобы Якубова не прибили свои же, чтобы вербовка не была разгадана, майор решил пока не трогать Ройтмана. Да и люди нужны были ему срочно. Они смогли за несколько часов так далеко продвинуться вперед, что теперь, когда будет нужно, подкрепление не подоспеет. “Взяли узловую станцию и надо было ее защищать, – рассуждал в сердцах майор, – а тут необходимо думать о собственной безопасности” Майор понимал, что советское командование уловило ошибочность их легкомысленного продвижения вперед и что теперь обязательно надо ждать их скорейшего прихода. Деревня, в которой они стояли (два батальона и два спецподразделения), и была как раз ключом к нападению на узловую станцию...

*

*

– Смогли бы мы отойти во время боя к лесу? – с грустью в синих глазах спросил лейтенант, ни к кому не обращаясь. – Раненые тогда бы остались, – сам себе ответил Федоров. – До сих пор не могу себе уяснить, как могли немцы так быстро тут появиться. Неужто они километров на десять-двенадцать прорвали нашу оборону?

– Ну, а если поезд не остановился бы? – спросил, продолжая держаться за живот, Оганесян.

– Ну тогда нас забросали бы бомбами, – спокойно пояснил Ройтман.

– Все это верно. И деревню эту, как опорный пункт, они постарались быстро захватить. Ведь она стоит на пути к той узловой станции. Но не перестарались ли они? – заключил Федоров.

– Все это так, товарищ комроты, – тихо, чтобы никто кроме них не слышал, вставил Ройтман, – а что-то предпринять необходимо.

И Федоров, и Москаленко, и Оганесян – все они в недоумении посмотрели на Ройтмана и молча с нетерпением стали ждать, что он конкретно предложит. Ройтман же сначала под взглядами товарищей растерялся, но затем, оглянувшись по сторонам, тихо и серьезно предложил:

– Бежать надо, вот что необходимо!

– Как, сразу всем? – Не без иронии в голосе прохрипел Москаленко.
– Да, кстати, говорят, Петренко убежал, – просипел он. Затем встал во весь свой огромный рост и, видимо, вспомнив, что может задеть за балки, сразу пригнулся и приглушенно крикнул:

– Товарищи, где ефрейтор Петренко?

– Здесь его нет, – ответили с одного конца барака.

– И тут его нет, – послышалось с другого конца.

– Удивительно, – когда вновь присел, сказал Москаленко, – где же он может быть? Совершил побег? Он, как мне кажется, не способен совершить подобный подвиг. – Потом вернулся к предложению Ройтмана и добавил: – Мысль решительная.

– Кому грозит опасность, тому в первую очередь и бежать. Верно говорю? – обратился он за поддержкой к Федорову и Оганесяну.

Некоторое время все молчали, раздумывая над предложением своего товарища и над тем, как и при каких обстоятельствах можно было бы устроить побег.

Лишь через полчаса, как старшина Москаленко хватился ефрейтора Петренко, два эсэсовца втолкали того в барак. Он распластался на полу, затем потихоньку привстал, поискал кого-то глазами, и, почему-то трусливо озираясь по сторонам, в полусогнутом состоянии пошел к валявшемуся в углу “избитому” и хмельному Якубову.

– Петренко, ко мне! – как только тот оказался в бараке, грозно приказал Москаленко.

Прежде чем отправиться к старшине, Петренко посмотрел на Якубова. Злые, мышинные глазки того предупредили: смотри, не проболтайся! Поняв его взгляд, Петренко слегка кивнул головой, мол, понял и, все так же трусливо озираясь по сторонам, будто ожидая, что его могут бить слева и справа, весь съехившись от страха, пробрался к старшине.

– Где был, ефрейтор? – строго спросил лейтенант Федоров, потому что очень уж подозрительным показалось ему отсутствие Петренко в бараке.

– Можно я присяду, товарищ комроты? – тихо, заискивающим голосом попросил разрешения Петренко.

– Садись, – разрешил Федоров.

– Я-я, – Петренко приблизился к лейтенанту, – я-я бежал... но меня поймали.

– Били? – без тени удивления, естественно, не поверив в искренность слов Петренко, спросил Федоров.

– Да. Еще как! – сделав страдальческий вид, продолжал врать ефрейтор.

– Здорово били, говоришь? – как бы поддерживая начатую Петренко игру, рассеянно продолжал задавать наивные вопросы Федоров.

– Ох, здорово, товарищ комроты! – все хуже наглея, врал Петренко и для убедительности трогал под глазом небольшой синяк.

– Один синяк и оставили? – продолжал издеваться лейтенант.

Федоров вел этот пустой разговор с ефрейтором, а сам думал над тем, почему этому рыжеволосому парню, кстати, никому не нравившемуся, нужно было врать и что скрывалось за его обманом. В голову Федорову приходили всякие мысли. “Не продался ли он вместе с Якубовым?”. Он рассуждал про себя, выискивая истинную причину такого поведения Петренко, а тот тем временем лгал без меры.

– Не-е, товарищ комроты. Били ногами, грозили пистолетом... А потом ихний майор как заорет. Успеем, говорит, расстрелять, сейчас, говорит, нам люди нужны, рабочие руки. Отведите, говорит, его в барак. Завтра надо, говорит, срочно оборонительные сооружения строить на востоке деревни. Вот и все, товарищ комроты, – чувствуя, что нельзя совсем завираться, стал он подбрасывать в свой лепет некоторые правдоподобные факты.

Петренко долго и терпеливо старался объяснять все это Федорову, а про себя зло размышлял: “Товарищ комроты, товарищ комроты... Да какой ты, зараза, командир роты? Где твоя рота-то? Ответил бы тебе хорошенько, но потерплю еще немного...”

Что касается побега Петренко – это была сплошная ложь, и Федоров понимал это, но слова “надо строить оборонительные сооружения” были похожи на правду. И они насторожили лейтенанта.

– Ладно, Петренко, иди на свое место, – жестко сказал Федоров.

О последних словах Петренко лейтенант рассказал Москаленко, Оганесяну и Ройтману.

– Если фашисты действительно хотят обороняться, значит или они решили укрепиться на этих позициях и вперед не пойдут, или ждут на этом участке обязательного и срочного контрнаступления наших, – размышлял Ройтман вслух.

– И я об этом думаю, – поддержал предположения Ройтмана лейтенант. – А потому, полагаю, фашисты и отложили свои расстрелы. Ясно. – Слегка улыбнувшись Ройтману, он заключил: – Ну что ж, дружище, считай, что нам с тобой чуточку повезло, а иначе бы...

* * *

Целый день пленных никуда не выводили, не считая утреннего выхода за водой. Никого никуда не вызывали, никакой похлебки им не выдавали – будто их здесь и не было. Немцы были заняты своими заботами. Им сейчас было не до пленных.

Незаметно в бараке улеглась темнота. Разговаривали шепотом. И хотя шли уже вторые сутки после отступления, и бойцы в рот и крошки не брали, и хотя вчера им пришлось выдержать тяжелый, неравный бой, все же сон к этим усталым и голодным людям не шел.

– Товарищ лейтенант, – тихо натруженным голосом начал старшина Москаленко. – Если действительно речь идет об оборонительных рубежах, то без нас им не обойтись. Это, во-первых. Во-вторых, если предполагаемое наступление наших провалится, то вас и Ройтмана, как я думаю, ... Мне кажется, и Оганесяна могут... Во-первых, он утром вместе с Ройтманом обманул обер-лейтенанта. А он наверняка уже дознался об этом. Во-вторых, узнают, что у него с животом что-то неладное... Решат, что инфекционное заболевание – и крышка. Так я к чему все это говорю? Как только выведут на работы, так сразу и бежать надо всем вам троим. Другое дело – как это сделать. Но мы создадим обстановку...

– Бежать – оно хорошо, – как только закончил Москаленко, ответил в раздумье Федоров. – Да и как это сделать? И в какую, как говорится, степь бежать-то? Вот ведь в чем загвоздка. – Он на минуту замолчал, обдумывая что-то, а потом добавил: – Хотя подождите. За лес-то мы и забыли. Но большой ли он? Да, но... – Федоров с минуту задумался, а потом, не dokonчив своей мысли, попросил: – Ладно, старшина, никому ни слова.

– Есть, товарищ лейтенант, – серьезно ответил Москаленко.

Федоров облокотился на стенку и закрыл глаза: он устал. Товарищи решили, что лейтенант заснул и приумолкли. Нет, Федоров не мог заснуть. Он в который уж раз обдумывал создавшееся положение. Он то загорался, когда думал о побеге, то впадал в меланхолию, сомневаясь, что их могут не вывести на работы, то вновь оживлялся, вспомнив о лесе, то опять впадал в грусть, сомневаясь в успешном побеге.

Москаленко смотрел на удрученное лицо лейтенанта, который был в два раза моложе его по возрасту, и как-то нежно, по-отцовски, будто прочитал все его сомнения, душевно произнес:

– Мы прикроем, товарищ лейтенант. Прикроем.

Федоров молчал. Он все еще сидел с закрытыми глазами и думал свои думы. Услышав слово “прикроем”, он горько усмехнулся краешком рта и невесело подумал: “Ох, прикроем... Да вот сначала нас никто не прикрыл. Потом мы не смогли прикрыть командира батальона и замполита.

Не смогли прикрыть более ста раненых товарищей... А теперь что ж, голыми руками что ли будете прикрывать?"

Федоров, конечно, понимал, в каком смысле было произнесено слово "прикроем" этим грузным, милым старшиной.

– Ну что, Ройтман и Оганесян? – очнувшись от своих мыслей, открыв глаза, обратился Федоров к ним. Не дожидаясь ответа на свой вопрос, продолжил. – Тут за нас Москаленко все решил. – Затем добавил: – Разговор держать в строжайшей тайне.

– А почему старшина с нами не хочет? – шепотом спросил Оганесян.

– Да вы что, ребята. Со мной вы далеко не убежите – фигура слишком приметная, – и он, показав на свою комплекцию, с улыбкой развел руками.

* * *

Утром немцы действительно погнали всех пленных к перелеску. Фашисты на самом деле торопились. Когда добрались до места, пленным раздали кирки и лопаты, объяснили задачу и тот же обер-лейтенант крикнул: "Шнель!"

– Что такого могло все же случиться? Почему они так заторопились? – шепотом спросил Оганесян у Ройтмана.

– Да, зашевелились. Наверное, все-таки ждут наших, – так же шепотом ответил Ройтман.

В другую минуту Оганесян посмотрел на небо и чуть не крикнул от радости: большие черные тучи наплывали к тому месту, где они стояли.

– Иосиф, посмотри на небо! Соображаешь?

– Да! Вот бы здорово было, а? Да еще если проливной! Это – спасение! – радостно-возбужденно воскликнул Ройтман.

Через несколько минут действительно загрохотал гром, и дождь пошел сразу. Через полчаса он лил уже как из ведра. Немцы, несшие охрану, собрались под навес. Видно было, что они обсуждают создавшееся положение.

– Ни в коем случае не прекращать работы! – кричал в трубку майор.

– Вы меня поняли, обер-лейтенант?

– Так точно, господин майор, – вытянувшись в струнку, будто майор находился рядом, торопливо буркнул обер-лейтенант.

– Если сбросят бомбы и тогда не прекращать работы. Сегодня их необходимо завершить! Завтра будет поздно. Выжмите из пленных все соки, пусть они все там подохнут, но работы – закончить! Стемнеет –

включайте прожектора. И держите поблизости собак на случай побега. Все, – проорал в трубку майор.

Пленные вымокли до нитки. Они выбились из сил и с трудом волочили ноги по скользкой глинистой земле. Окопы и рвы, которые они рыли, наполнились водой, и пленные продолжали копать по колено в воде. Уже темнело. Ройтман прошел рядом с Оганесяном и толкнул его в спину. Тот, приняв условный сигнал, в свою очередь толкнул в спину лейтенанта Федорова.

– Не медлите, – быстро и взволнованно проговорил Ройтман, – а то фашисты прожектора включают.

Первым по яме уходил Федоров. Вскоре он оказался в конце траншеи, где работал, как и договорились, старшина Москаленко. “За его спиной меня вроде бы не должны заметить, – успокоил себя мысленно Федоров. – Прикрывает нас, как и обещал.” Подумав так, лейтенант улыбнулся краешком рта и в душе поблагодарил этого здорового и храброго и очень доброго по натуре человека. Федоров лег на землю и на руках сделал несколько рывков в сторону перелеска. Потом медленно пополз по липкой грязи. Сердце у него билось учащенно. Сделав ползком метров пятнадцать и достигнув первых деревьев у перелеска, Федоров плотно прижался к земле и теперь не шевелился. Всякие тревожные мысли будоражили его голову. “Может быть, – думал он, – нас и так оставили бы в живых?! А тут поймают и...” Назад не оборачивался – страшновато было. Немного отдохнув, пополз дальше. Он устал, продрог, силы душевные и физические были на исходе, в горле пересохло... Почему-то потянуло спать. Вдруг где-то сзади он услышал чье-то прерывистое, тяжелое дыхание. Он еще сильнее прижался к земле и замер. Слышно было, как хлещет дождь. Грязь прилипла к лицу, щекотало под носом. Он хотел рукавом гимнастерки провести по лицу, но не решался делать лишние движения.

Оганесян и Ройтман, чтобы не вызвать подозрений, договорились бежать один с середины ямы, другой – по следу Федорова – от Москаленко.

Федоров не знал, сколько времени он так пролежал, как вдруг вновь совсем близко от себя услышал тяжелое, прерывистое дыхание. “За мной следом должен был пойти Ройтман. А вдруг это не он, а фашист?” – с тревогой подумал он. В другую минуту не выдержал – оглянулся. Это был Ройтман. От радости Федорову стало плохо: закружилась голова, расслабли руки и ноги, он опустил голову на скрещенные впереди руки и потерял сознание – голод и волнение дали о себе знать.

Ройтман подполз к Федорову и, толкнув его в плечо, коротко бросил: “Бежим!”. Но Федоров продолжал лежать. Ройтман забеспокоился. Он не понимал, что могло случиться с лейтенантом. “Неужели расслаб? – по-

думал Ройтман. Он поднял голову лейтенанта, сделал ему небольшой массаж и, когда Федоров открыл глаза, попросил его двигаться дальше. Через минуту-другую они привстали, оглянулись и побежали друг за другом. Вскоре они оказались у товарняка, где под дождем лежали трупы дорогих им товарищей. Здесь они оба, тяжело дыша, остановились и облокотились на платформы. Стали дожидаться Оганесяна. И Ройтман, и Федоров, молча, в уже наступившей темноте искали глазами майора Ростовцева и капитана Байрамова. Затем Федоров, так и не найдя никого из них, негромко, все еще прерывисто дыша, сказал:

– Найти бы их да похоронить, но как это сейчас сделаешь?

– Нам бы вырваться только, а похоронить своих товарищей мы обязательно похороним, – твердо и решительно шепотом заявил Ройтман.

Не успели они перекинуться несколькими словами, как через минуту совсем рядом услышали голос Оганесяна:

– Р-ребята, вы где?

– Здесь, здесь, – обрадовался Федоров. А про себя отметил, что когда Оганесян сильно волнуется, то обязательно картавит.

Они обогнули товарняк и побежали в сторону леса. Трое понимали, что он, этот лес, – теперь их единственное и верное спасение. Они в последний раз посмотрели в сторону перелеска, откуда они бежали и где остались их товарищи по оружию, – теперь там все вокруг было освещено мощными прожекторами.

– Успели мы, товарищи! – радостно воскликнул Ройтман. – Ну, а теперь вперед, а то спохватятся нас.

Они бежали, делая по несколько метров, и останавливались лишь для небольшой передышки. Добежав до леса, они, как по команде, остановились: то ли не поверили, что удалось убежать, то ли испугались вечернего леса...

– Только не стоять, товарищи, только не стоять, – умоляюще попросил Ройтман.

И трое побежали дальше. В висках у них стучало, ноги подкашивались, в глазах рябило, их тошнило. Они падали, помогали друг другу встать и снова бежали, спотыкаясь о коряги, скользили по мокрой траве. Может быть, в эту тяжелую для них минуту, каждый из них готов был бы проклясть этот непрекращающийся дождь, но в то же время они сознавали, что именно благодаря этому дождю им удалось совершить побег из плена. Трое знали, что и раньше советские военнопленные совершали побег из плена, но делали это, как правило, в одиночку – так было безопаснее. Но чтобы уйти сразу троем – это было, по их мнению, сверхъестественно. И в этом, сознавали они, им помог именно этот дождь.

А в стане фашистов в этот день происходило следующее. Утром, когда пленных погнали на строительство оборонительных рубежей, майор приказал привести к нему Якубова и Петренко.

– Значит так, – начал майор, расхаживая по хате. – Если вы хотели получите свобода, вы должны верно служить фюреру. Вы должны аккуратно выполняйте наш заданий. Хорошо выполняйте, тогда можете поехать в Германию. А потом – куда хотите. Итак, вы должны попадайте в соседнюю деревню Федоровка. Это километров пять-шесть отсюда. Там уже идет опять война. Вы должны узнайте, когда Красная Армия нападает на нас и запоминайте все. Если сегодня ночь вы не возвращайте, то крайний срок – завтра утро. Красные офицеры вы объясните, что убегайте после нападения на товарный поезд и прятаться. Вам поверят. Документ есть? Все понятно?

По данным армейской разведки майор знал, что части Красной Армии снова вернули деревню Березовку и что с сегодняшнего утра бои идут за крупную деревню Федоровка. Эти деревни плюс Петровка, в которой они стоят уже третьи сутки, составляли своеобразный треугольник. Понимал майор и то, что прежде чем выйти к узловой станции, красные должны пройти по всему этому треугольнику. Один угол этого треугольника – Березовку – красные прошли беспрепятственно. Битва шла за второй угол – Федоровку. Каков будет исход этого сражения, майор, конечно, не знал и потому на всякий случай хотел получить данные о наступающих частях, о вооружении и дальнейших задачах. Знал майор и то, какое особое значение придавало командование защите стратегически важной узловой станции и в связи с этим особенно их гарнизону. Вот почему он так срочно предпринял строительство оборонительных рубежей на восточной окраине деревни, откуда, как предполагал он, должны были начать наступление советские войска. Но когда начнется это наступление, майор не имел представление. И поэтому забрасывал в Федоровку этих двух советских военнопленных, биографии которых располагали к определенному доверию.

Закончив свою пространную речь, майор заглянул в мышиные глазки Якубова и в пустые, ничего не выражающие серые глаза Петренко, улыбнулся им натынуто, похлопал их по плечу, что означало его доверие к ним, и добавил:

– Хорошо выполняйте наш задание, вы будете получать премия и будет сам расстреляйте коммунист, евреев и офицеры. Да, кстати, как их фамилия? Герр лейтенант, запишите.

Якубов с готовностью выпалил фамилии всех, кого знал.

При имени Ройтмана майор вдруг неожиданно громко расхохотался, держась за живот, и сквозь смех, обращаясь уже к обер-лейтенанту, спросил:

– Этот тот самый, который одурачил тебя? И из-за которого вы избили его? – и майор ткнул пальцем в Якубова, будто перед ним стояла какая-то вещь.

Теперь бешено ржали все: и майор, и обер-лейтенант, и другие младшие чины. Не совсем понимая, чем вызвано их ржание, выдавливали из себя смех Якубов с Петренко.

– Но ничего, господин майор, у нас будет еще одна возможность посмеяться, когда этот черномазый еврей предстанет перед нами, – зло заговорил обер-лейтенант, успокаивая то ли самого себя, то ли майора, то ли Якубова.

– Этих в путь, – приказал майор.

Не знали еще гитлеровские офицеры, что проливной дождь внесет существенные изменения в их планы и что уже этим вечером троих советских смельчаков, которых утром следующего дня хотели расстрелять, они уже не найдут. Не знали они и того, что сегодня же утром, быстро добравшись до Федоровки, Якубов и Петренко погибнут от разорвавшегося рядом с ними снаряда. Ни самоуверенный майор, ни его подчиненные не знали еще и того, что буквально через день не пленные предстанут перед ними, а сами окажутся в их роли. Ничего этого они еще не знали и знать не могли.

*

*

Но все это произойдет потом. А пока трое, чудом вырвавшиеся из объятий смерти, углублялись в лес, не зная, куда идти дальше.

– А есть ли здесь вообще кто-нибудь? – тяжело и громко дыша, произнес Оганесян.

– Встретим кого-нибудь. Должна же появиться хоть одна живая душа, – успокоил товарища Ройтман.

Они теперь все чаще останавливались: силы были на исходе. Им казалось, что они пробежали километров пять-шесть. Они желаемое выдавали за действительное. На самом же деле они не проделали и двух километров от линий железной дороги. Да и как могли трое изможденных, изголодавшихся, переволновавшихся людей сделать большего в темноте, по липкой грязи, под проливным дождем?

– Слышите? – вдруг резко остановившись и хватая товарищей за руки, в ужасе произнес Ройтман. – Слышите?

Ни Федоров, ни Оганесян ничего не слышали.

– У меня в ушах сплошной гул стоит, – расстерянно сознался Федоров.

– А я только слышу гулкое биение своего сердца, – робко признался Оганесян.

С минуту все трое стояли как вкопанные. Они чутко прислушивались к звукам и шорохам вечернего леса.

– Постойте, постойте, – и Федоров движением руки остановил Оганесяна и Ройтмана. – Слышу отдаленный лай собак, – помрачнев, тихо произнес он.

Да, теперь все трое отчетливо слышали истеричный лай овчарок и гулкие автоматные очереди.

– Овчарки следа не возьмут, – уверенно заверил Ройтман. – Беда в другом: если фашисты перейдут полотно железной дороги и решатся войти в лес, то тогда они нас могут нагнать. Но не-у-же-ли они решатся войти в темный лес? Вряд ли!

– Раз они спохватились нас, значит работы закончились, – решил Федоров. – Выстроили всех, сделали перекличку, не досчитались нас и пустились за нами в погоню...

И трое снова побежали. Им казалось, что они кружатся на одном и том же месте. От такой мысли им становилось не по себе. Но и стоять ждать тоже было нельзя. Через несколько минут, когда они остановились для очередной передышки, лая собак уже не было слышно. Это еще хуже действовало на них. Трое подумали, что немцы задумали хитрый ход: надели на собак намордники и тихо, без шума преследуют их. И совсем неведомо было им, трем изнуренным от голода и усталости и изрядно продрогшим от холода и волнения товарищам, что немцы, перейдя железнодорожное полотно, остановились прямо перед лесом и прекратили за ними погоню.

Но трое двигались дальше. Каждый из них, будучи в душе убежден, что их сейчас настигнут, уже не бежали, а тяжело, чуть ли не безразлично шли дальше. И хотя дождь уже прекратился, но бежать они уже и не могли, и не желали. Теперь трое, еле волоча обессиленные ноги, поддерживая друг друга, делали метров по восемь-десять и останавливались для передышки. А когда перед ними неожиданно открылась долгожданная поляна, они сразу в изнеможении опустились на поваленное дерево. Молчали. Никто никого уже не успокаивал. Каждый из них понимал, конечно, что в таком лесу немцам не так просто будет пускаться в погоню за беглецами: можно было и заблудиться. Понимать понимали, а чувство обеспокоенности все же сильно сковывало их сознание.

Через несколько минут, когда Ройтман молча поднялся, чтобы идти дальше, и когда вслед за ним встали Федоров и Оганесян, они вдруг замерли от направленных на них лучей карманных фонарей.

– Все, ребята, это конец, – упавшим и безразличным голосом шепотом проговорил Оганесян.

“И столько усилий зря!” – промелькнуло в голове Федорова.

Лиц людей, направивших на них свет, они не видели.

– Кто такие? Что вы здесь делаете? – освещая попеременно каждого из них, грозно спросил молодой голос на русском языке.

От радости, что услышали русскую речь, у троих помутилось в голове. Они не устояли на ногах и грузно опустились на дерево, не зная еще, радоваться им или бояться.

– Кто они? – как в полусне прошептал Федоров. – Неужели мы попались изменникам и предателям, рыскающим по лесам?

Трое понимали, что кто бы ни были эти люди, им никуда от них уже не деться, что их судьба теперь в их руках и что поневоле придется подчиниться их воле.

– Руки вверх! – видя, что трое продолжают молчать, приказал все тот же молодой голос. – Руки, говорю!

– Так мы свои! – неожиданно громко и четко выкрикнул, весь подавшись вперед, Оганесян.

– Свои – не свои – разберемся. Много тут своих ходят. Руки, говорю, вверх, – направив дуло автомата на Оганесяна, пригрозил все тот же голос.

“Видимо, этот парень у них за старшего, – подумал Ройтман. – Из-за луча света не разберешь, сколько их там стоит, – продолжал рассуждать он. – Наверное, все-таки партизаны – не особенно грубые.”

– Не надо, товарищи, спорить. Поднимите руки, – тихо, устало и совсем ослабевшим голосом попросил Федоров, не глядя на Оганесяна и Ройтмана.

И сам первым поднял руки.

То ли грубоватый окрик человека, говорившего на родном русском языке, то ли их недоверие к ним, троим, убежавшим из фашистского плена, измотавшимся за эти двое суток, то ли дуло автомата, направленное на них, – все это так неимоверно сильно подействовало на перенапряженные нервы лейтенанта Федорова, что он, не выдержав, тихо застонал.

– Не надо, товарищ лейтенант, слышите, не надо. Все образуется. Вот увидите. Главное, от фашистов ушли... – первый раз за весь вечер громко заговорил Ройтман, злясь теперь на тех, кто так бесцеремонно с ними обращались.

Через минут пятнадцать-двадцать они оказались на другой лесной поляне, в два раза большей, чем первая. Здесь горели костры и царило оживление. При их появлении один из сидящих на поваленном дереве, мужчина лет пятидесяти медленно встал, так же медленно, не торопясь, вытащил изо рта самокрутку и спокойно, вполголоса обратился к конвоиру, стоявшему впереди.

– Ну, докладывай, Иванцов.

– Товарищ Старик, они оттуда, – и Иванцов кивнул головой в сторону железной дороги. – На малой поляне... Отдыхали.

Иванцовым оказался, судя по голосу, тот самый парень, который вел с ними разговор. Он был высоким, широкоплечим парнем-увальнем.

– На русском говорят плохо, – вставил другой конвоир, которому на вид было не больше двадцати лет. – С каким-то акцентом что ли, пояснил он для убедительности.

– Эти двое чернявых горячатся, кричат “мы свои”, а я им говорю: свои – не свои – там, мол, разберемся. А этот блондин все больше молчит и стонет. От злости наверное. Они его товарищем лейтенантом величают. Кажется, немец он, – высказал предположение Иванцов.

– Когда кажется, что делают, Иванцов? А? – строго вставил товарищ Старик, не переставая рассматривать внешний вид задержанных.

Перед товарищем Стариком, взявшись за плечи, стояли трое бесценных людей в изодранных, вымазанных грязью, вымокших до последней нитки солдатских рубашках. Черноволосым, кареглазым на вид можно было дать лет по 30-35. Были они среднего роста, плотные, широкоплечие, видно, крепко скроенные мужики. А синеглазому блондину, которого, как сказал Иванцов, величают товарищем лейтенантом, можно было дать не больше 25 лет.

Товарищ Старик еще раз медленно обвел взглядом всех троих, затаившись, медленно, не торопясь, выпустил дым и спросил:

– Так откуда же вы прибыли? – товарищ Старик сделал ударение на слова “прибыли”, произнося вопрос с долей иронии.

– Мы с товарняка. Нас взяли в рукопашном бою в плен. Мы бежали из плена, – стараясь быть спокойным, доложил лейтенант Федоров.

Товарищ Старик при этих словах с хитрецей в лукавых глазах посмотрел на молодых конвоиров, мол, что вы-то, хлопцы, скажете...

– Надо расстрелять их и все тут, – по-своему поняв взгляд товарища Старика, стараясь выглядеть строгим и деловым, заключил Иванцов. – Предатели все они, – горячо и сердито выкрикнул он вновь. – Помолчав, добавил: – Вы же сами говорили, что от немцев не так-то легко даже решиться убежать, не то чтобы совсем уйти, да еще втроем...

Товарищ Старик понимал, что добродушный Степан Иванцов предложил расстрелять этих людей вовсе не потому, что был он злой и жестокий человек. Нет. Для пушей важности и солидности сказал он так: вот, мол, какой я бдительный!

– Говорить-то говорил. Это верно, – отвечая на высказывание Иванцова, в задумчивости заметил товарищ Старик.

– Что, это мы – пр-ре-датели? – обращаясь к Федорову и Ройтману, не выдержав, вспылит темпераментный Оганесян.

– Вот так и расстрелять!? Да? Без суда и следствия? Да кто вам позволил такими словами разбрасываться? – более убедительно и веско, но тоже довольно горячо выступил Ройтман. – Значит из одного плена бежали да в другой попали!? Так выходит? – продолжал возмущаться Ройтман.

– Так у вас, наверное, ни документов с собой... – уже мягче заговорил товарищ Старик, настолько убедительными показались ему слова горбоносого, кареглазого и чернявого солдата.

– Э-эх! – махнул рукой совсем разгоряченный Ройтман. – Да если хотите знать, из-за одного предателя меня вчера чуть не расстреляли. Я же еврей. Просто повезло.

– Еврей, говоришь? – и товарищ Старик с минуту задумался.

Вся надежда, как понял теперь Ройтман, была на то, чтобы доказать им, что он еврей. И тогда все станет на свои места. Ведь не мог же он, еврей, которого хотели еще раз выдать, преспокойно сидеть у фашистов и ждать расстрела.

– Может, действительно, наши они, товарищ Старик... – теперь с некоторым сочувствием неуверенно выступил Иванцов.

– Не встречай, Иванцов! – сердито одернул его товарищ Старик. – Разберемся.

Затем, обратившись к мужчине, вставшему со ствола, приказал:

– Сидорчук, вызовите капитана Плехмана.

Капитан Плехман появился минуты через три-четыре. Ниже среднего роста, в форме, подтянутый, он подошел к товарищу Старiku, приложил руку к козырьку и сказал:

– Слушаю, товарищ командир.

– Поговорите с товарищем... – затем обратился с вопросом к Ройтману: Как?

– Иосиф Ройтман, – отчеканил молодцевато Ройтман, хотя его еле держали ноги.

– Говорит, еврей, – пояснил товарищ Старик. – Я буду в землянке. – Затем, повернувшись к Иванцову, сказал: А ты, Иванцов, отошли своих в роту, доложи о сдаче дозора и опять сюда.

– Вы – еврей? – с некоторым недоумением в добрых, умных глазах спросил капитан Плехман.

– Да, товарищ капитан.

Плехман взял под руку Ройтмана и, продолжая задавать вопросы, отвел его на край поляны. Более десяти минут, которые показались вечностью Федорову и Оганесяну, продолжалась их беседа. Беседа, от исхода которой, понимали Федоров и Оганесян, зависела, пожалуй, судьба всех их троих.

О чем говорили Плехман и Ройтман, Оганесян и Федоров узнали чуть позже.

– Разговор сначала был очень тяжелым, – рассказывал Иосиф. – Его смущал мой бакинский акцент и то, что я вообще не похож на еврея, что я смахиваю на настоящего кавказца... Потом он грозно предупредил, что если я не сумею доказать, что я еврей, то нас могут расстрелять, – и Ройтман при этом тяжело вздохнул, а затем продолжил. – Дело дошло до того, что капитан пожелал узнать, обрезанный я или нет. А когда я ему сказал, что я мусульмане обрезанные, он, не моргнув глазом, попросил рассказать ему, что я знаю о ритуальных обрядах евреев. И когда я ему о них подробно рассказал, то почувствовал, как взгляд у него слегка потеплел.

– А писать и читать на иврите можете? – спросил он, заглянув мне в глаза.

– Конечно, – ответил я с готовностью. – Конечно, – обрадованно повторил я. – Но разве вы поймете то, что я произнесу? – спросил я обеспокоенный.

– Понять-то не пойму, но мой отец был религиозным человеком, и я помню слова из молитвы.

Когда я ему наизусть прочитал отдельные места из торы, он резко обнял меня и взволнованно произнес: “Это вас и спасло!”

Затем мы присели на поваленное дерево, и он рассказал мне про свою семью. А я – про свою.

– Недавно немцы заслали к нам в отряд своих под видом советских воинов. Мы их раскусили, – в задумчивости, глядя куда-то вдаль, изменил он неожиданно ход нашего разговора. – Должен сказать, что вам повезло. Не будь в отряде меня, еврея, пропали бы вы... – продолжал он.

– Вот и все, ребята, – заключил Иосиф. – Так что мы обязаны будем всю жизнь молиться на этого прекрасного человека!

– Но ведь и без тебя нас могли бы расстрелять. Верно говорю, Оганесян? – тихо промолвил Федоров. – Так что и ты наш спаситель, Иосиф! Фронтовые друзья обняли Ройтмана.

Но все это произойдет чуть позже.

После разговора с Ройтманом Плехман оставил устало двигавшегося собеседника и быстрым шагом подошел к Федорову и Оганесяну, которые с нетерпением ждали его решения. Он крепко пожал им руки, улыбнулся и трогательно произнес:

– Поздравляю вас, товарищи!

А когда товарищ Старик снова появился на поляне, он, все еще улыбаясь, обратился к нему:

– Товарищ командир, ваше задание выполнено! Можете принять в свой отряд одного лейтенанта, одного сержанта и одного рядового.

– Что же, товарищи, рад за вас. А за допрос извините – надо! – и он развел руками.

А это, товарищ командир, вставил капитан Плехман, когда товарищ Старик сделал паузу, документы погибших в бою майора Ростовцева и капитана Байрамова. После минутного молчания продолжил: “Надо, товарищ командир, похоронить их с почестями”

– Сделаем, – с тоской в больших светло-карих глазах ответил товарищ Старик. – Жаль, что мы не знали о случае с товарняком. Не было нас здесь в тот день, а то пришли бы вам на помощь... – Потом повернулся к появившемуся Иванцову и, стараясь показаться сердитым, потребовал:

– Иванцов, ты привел гостей, – и он показал на троих, – ты их чаем и напои. Пусть отогреваются. И передай Клименко, чтобы им всю амуницию выдал... В общем пусть на довольствие ставит. И, обратившись к Плехману, добавил: Они с нами пойдут.

Командир отряда, держа руки за спиной, медленно двинулся в сторону землянки, продолжая разговор с капитаном Плехманом.

– Выступаем, как и планировали со штабом, послезавтра на рассвете. Полковник, которого наши взяли в Федоровке, был прав: контрнаступление было предпринято немцами в больших масштабах. Позарез нужна была им эта узловая станция. Да это и понятно. Но чтобы удержать ее, по словам полковника, они переусердствовали. Наши это поняли. Сейчас после взятия Березовки бои идут за Федоровку. Освободив ее, наши хотят обогнуть Петровку с юга и напрямик выйти на штурм узловой станции. План простой. Но здесь два нюанса: во-первых, красноармейцы не ввязываются в бой за Петровку, чем сохраняют силы для решающего удара, во-вторых, взятие Петровки поручается вам, – и товарищ Старик внимательно посмотрел на Плехмана, как, мол, он воспримет такое сообщение. Потом продолжил: – Так что, товарищ замполит, настраивайте народ по-боевому, разъясняйте ему цели и задачи. Поработайте, замполит.

* * *

Переодевшись во все сухое, поев, трое расположились в землянке на соломе и сразу заснули. Тяжелыми и беспокойными были их сны. Они иногда резко просыпались, приподнимались и осматривались вокруг, не понимая, где они находятся и что с ними.

— Спите, спите спокойно, — будто догадываясь, что творится с ними, успокаивал их дежурный партизан.

Им еще не верилось, что они вырвались из фашистского плена и что они у своих, в безопасности. Их продолжала беспокоить мысль об оставшихся там, в плену товарищах. Вновь заснуть они больше не могли. Поэтому, окончательно проснувшись, все трое сидели на соломе. В землянке слышалось мерное посапывание спящих партизан, бледно горела лампадка над грубо сколоченным столом. Трое сидели и молчали. Каждый углубился в свои думы. Они мысленно возвращались к событиям, происшедшим у товарняка, представляли себя рядом с остальными пленными в бараке, воспоминания переносили их в свои родные города, к близким.

Никто еще, наверное, не изучал, не исследовал то огромное значение в поддержании бодрости духа каждого советского воина, которое играло воспоминание о родном доме, о близких и дорогих им людях. Каждое письмо из дома, каждое воспоминание о родных придавало воинам ту мифическую силу, которая была способна сокрушить ненавистного врага и приблизить священный день Победы.

Оганесян отчетливо представил старческое морщинистое лицо матери. Хотел вспомнить лицо жены Айкануш, но это ему почему-то никак не удавалось. Он, кряхтя и неуклюже, наклонился на левый бок, достал с заднего кармана бумажник, выгашил фотографию жены, посмотрел на нее долго и внимательно, затем провел по ней рукавом новой солдатской рубашки и вложил опять в бумажник. Лицо дочери сразу всплыло в памяти, без затруднений. “Сколько же сейчас моей Асмик? Семь? Нет, уже девять. Повзрослела, наверное, — вздохнул он. И вновь подумал о матери: “Э-э, да ей уже семьдесят, должно быть. Как идут годы!” Вспомнил, что жена Айкануш в последнем письме писала. Страшное это было письмо. Тяжелое. Ну, сначала, как всегда, шли приветы от дядюшки Рубена, от тетушки Сирануш... А потом... Оганесян четко представил себе все, что произошло в его родном высокогорном селе. Вернулся с войны школьный учитель Ашот. Вернулся без одной руки. Радовалась семья инвалида — как-никак живым вернулся. В самый разгар семейного торжества по поводу его возвращения вдруг на улочке раздался громкий протяжный плач. За столом приутихли, решив, что наверное, очередная похоронка на кого-то пришла. Неловко почувствовал себя Ашот. Еще по дороге домой, если он видел

женщин, детей, оплакивающих своих родных, погибших на полях войны, он весь потел, краснел, считая себя виновным в гибели других.

Они сидели за столом, окно на улицу было открыто и все, что происходило там, отчетливо доносилось до них. Нет, не похоронка пришла – это был плач соседки Манушак, у которой в первый же год войны погибли муж и брат. Это был даже не плач, это был крик души. “Люди добрые, – кричала Манушак, причитая. – Матери и сестры, кто вместе со мной будет оплакивать моих дорогих, незабвенных мужа Сурена и брата Аветика? У кого когда-нибудь умерли или погибли муж или брат, отец или сын, плачьте вместе со мной, несчастные!”

И собрались вокруг нее все сельские женщины в черном. И оплакивали вместе с прекрасной Манушак ее родных. Страшная беда Манушак, потерявшей сразу двух мужчин, затмевали все маленькие горести и радости других односельчан.

Сидел Ашот за столом. Рядом на табуретках – жена и двое детей. Все молчали. У всех у них ком застрял в горле. Они чувствовали себя виноватыми в чем-то перед Манушак и перед другими, кто потерял на войне родных. А Манушак, растерзанная ее душа, причитала на все село, и голос ее эхом отзывался в горах, многократно усиливая его и повторяя слова ее.

– Люди добрые, – взывала она в который раз, – сестры, матери! Все, у кого когда-нибудь и кто-нибудь погиб, кто потерял добрых и отзывчивых, талантливых и красивых, плачьте вместе со мной. Плачьте, несчастные!

– Не надо, милая Манушак, – успокаивали ее подруги.

– Не омрачай, дорогая Манушак, возвращение Ашота, – назидательно просили ее старухи.

А Манушак в обморочном состоянии продолжала истязать себя: рвала на себе волосы, била себя по щекам и голове, в грудь. Кто-то крикнул: – Да принесите же воды!

В истерике, забывшись, обессиленная, Манушак уже тихо продолжала причитать:

– Кто вер-не-ет мне моих дорогих брата Аветика и мужа Сурена? Кто?

Сидел Ашот за столом. Слышал плач красавицы Манушак и, глядя поверх детских голов вдаль, в сторону гор, машинально гладил одной своей рукой по головке, сидящей рядом восьмилетней дочки. В душе он не обвинял Манушак, обезумевшую от слез и страданий, что устроила плач в честь его возвращения. Понимал он, что это обида говорила в ней. Что скажешь ей, женщине в трауре? Чем утешить ее горе? Ашот, стиснув зубы, роняя горькие и глущие мужские слезы, вышел на улицу. Вслед за ним вышла и жена Ашхен. За матерью с опущенными головками пошли и дети.

Когда все они приблизились к толпе женщин, в центре которой, распластавшись на земле, продолжала бить себя Манушак, женщины расступились, дав дорогу Ашоту.

– Манушак, сестра моя, в чем же я виноват перед тобой? Это проклятая война виновата. Гитлер виноват. Ты видишь, я плачу вместе с тобой! Ты видишь, я оплакиваю вместе с тобой твою безмерную боль, Манушак! Ты ведь всегда меня уважала, Манушак! Я же был другом и твоего мужа Сурена, и твоего брата Аветика! Мы же вместе на фронт ушли. Я понимаю: ты хотела бы, чтобы они, пусть калеками, но вернулись. Но что делать? Манушак, сестра моя, не надо убиваться горем.

От безысходности вела себя так красавица Манушак. И оттого, что она молодая, красивая осталась без мужа и что война поставила крест не только на судьбу мужа и брата, но и на ее судьбу. Судьбу вечной солдатки.

Оганесян провел рукой по щеке и только сейчас понял, что, вспоминая рассказ жены о трагедии, он незаметно для себя сам тихо ронял слезы.

Последняя часть письма была более утешительной. Вскоре Манушак, почти обезумевшую, забрал к себе в Ереван ее дядя, профессор Саркисян. Вспомнил об этом – и на душе немного легче стало, спокойнее. За Манушак, за Ашота и его семью...

Шел третий сентябрь их военной страды и единственным утешением в их многотрудной солдатской судьбе было то, что они наступали, гнали, правда, порой с переменным успехом, но гнали проклятых гитлеровских палачей со своей земли. Утешением были для них и те редкие весточки, которые приходили от родных, близких и друзей.

К лейтенанту Федорову после удачного побега из плена постепенно возвращалось душевное равновесие. Теперь он все чаще и чаще мысленно оказывался в своем родном городе и вспоминал не только мать, но и ту загадочную Зинаиду, смело решившую объясниться Петру в любви. Вот и сегодня: вспомнил про нее – и на душе стало легче, приятно. “Что такие, как Якубов? Они просто поганые предатели! Таких единицы. Что Клавка, из которой животная страсть выпирает? Другое дело – Зинаида, Иосиф Ройтман, старшина Москаленко, Васген Оганесян! Товарищ Старик!. Это – люди! Мужественные, отважные, человечные, добрые люди. Настоящие советские люди! А майор Ростовцев? А капитан Байрамов? А те десятки раненых, которые, истекая кровью, с оружием в руках отбивали вместе со

здоровыми атаку немцев? Вот люди! А что Клавка?" – рассуждал Федоров горячо, будто с кем-то спорил.

Он поймал себя на мысли, что частенько вспоминает эту Клавку. Подумав об этом, улыбнулся краешком рта: ведь сам когда-то почти был влюблен в нее. Красивая, статная, она, пожалуй, ни одного юношу не могла оставить равнодушным. "Оттого и бесится, что красивая", – заключил он. Странно сейчас вспоминать об этом: ведь война внесла свои существенные коррективы в такие понятия, как любовь, красота, душевность, человечность. Всему этому война научила давать объективные оценки, научила понимать их по-новому, по-другому.

Теперь, каждый раз вспоминая историю с Клавкой, он чаще думал не о ней, а о той, поступок которой накрепко запал ему в душу.

Незаметно для себя мысленно оказался в Баку. Представил, как каждое утро в одно и то же время шел в училище пешком мимо кинотеатра "Вэтэн". Милый, добрый город на берегу Каспия! Всего год проучился там, а как полюбил он его с его узенькими улочками и широкими проспектами. Неожиданно для себя вспомнил о том, что и Ройтман из Баку. "Почему я ни разу его там не встретил?" – не без некоторой досады подумал он. Затем повернулся к Ройтману и громко, совсем по-мальчишески, спросил:

– Иосиф, скажи, дружище, на какой ты улице жил?

Ройтман, глубоко занятый своими мыслями, сначала вздрогнул, в следующую минуту оторопел от заданного лейтенантом вопроса, потом, наморщив лоб, с усилием стал соображать, чего от него хочет Федоров.

Поняв, что своим вопросом он врасплох застал размышлявшего Ройтмана, Федоров еще раз громко повторил:

– На какой, говорю, улице живешь в Баку?

Ройтман, который наконец понял, о чем его спрашивает лейтенант, широко улыбнулся ему своими добрыми, карими глазами и ответил не без удивления:

– На Первомайской. А что?

– Вот здорово! – воскликнул сияющий Федоров, и его синие глаза от радости заискрились.

– Что здорово?

– Так мы рядом жили!

– Как рядом? – решив, что Федоров разыгрывает его, с блуждающей улыбкой на лице спросил Ройтман.

– Я – на Чадровой, а ты – на Первомайской.

Теперь Ройтман смотрел на своего командира с удивлением и вновь ничего не понимал.

– Насколько я знаю, вы товарищ лейтенант, со Ставрополя, – все продолжая улыбаться, сказал он.

– Да, но училище я закончил в Баку, – и синие глаза Федорова на исхудалом, осунувшемся лице засияли каким-то особенным блеском.

“Как ребенок этот милый лейтенант. И наверное за последнее время он ни разу так радостно еще не улыбался своими бездонными синими глазами”, – подумал Ройтман, все больше проникаясь чувством большой человеческой симпатии к этому очень умному, доброму блондину. Ройтман понимал, сколько силы прибавляет сейчас Федорову и эта улыбка, и это трогательное воспоминание. И решил поддержать эту своеобразную игру-беседу.

– Так эти улицы стоят параллельно, рядом, товарищ лейтенант, – весело, по-приятельски хлопнув лейтенанта по плечу, произнес Ройтман.

– Я и говорю. Я жил у кинотеатра “Вэтэн”, а ты?

– Тут же за углом.

Теперь они оба смеялись дружно, по-мальчишески, озорно. Их удивляло одно: как, живя совершенно рядом, они не видели друг друга.

– Да наверняка виделись, – смеялся Ройтман, успокаивая Федорова.

– Да конечно же! Не могли же мы однажды случайно не встретиться. Ну, здравствуй, сосед! – и хохочущий Федоров протянул руку своему солдату.

– Привет, солдат, – крепко пожал Ройтман протянутую руку Федорова.

– И хороший, честный, мужественный ты у меня сосед, – продолжал весело Федоров.

– И я рад такому славному, отважному, милому соседу, – в том же духе отвечал вконец развеселившийся Ройтман.

Оганесян долго и выразительно смотрел на своих товарищей и радовался за них. Увлеченный их общим весельем, он сам смеялся от души вместе с ними.

– Ты представляешь, Васген, жили рядом, а ни разу не встретились, – уже громко, вытирая рукавом гимнастерки выступившие от смеха слезы на глазах, восклицал темпераментный Ройтман. Ямочки на его щеках при этом то четко проступали, когда он широко улыбался, то выравнивались.

Веселье увлекло их, жизнерадостность нашла выход наружу. Трое советских воинов, перенесших тяготы войны, плена, побега, теперь охотно давали волю своему настроению. Они смеялись как дети, беззаботно и радостно. Потом им стало мало одной причины, вызвавшей веселье, и, чувствуя, что этой причине скоро придет конец (а они хотели и дальше веселиться – такова жизнь!), вспомнили теперь и как смачно заехал Ройтман

по морде этому предателю Якубову, и как он здорово обдурил того обер-лейтенанта.

Вспомнив обо всем этом, держась за животы от хохота, Федоров вдруг вспомнил про боли в животе Оганесяна.

– Кстати, – продолжая смеяться, обратился он теперь к сержанту, – как у тебя с животом?

– Да ладно вам, – отмахиваясь рукой, весело отшучивался Оганесян. – Вроде бы прошло. Как два стакана крепкого чаю вчера вечером выпил – будто ррукой сняло.

Теперь каждый из них хотел обязательно вспомнить такие события и факты из своей армейской жизни, чтобы можно было бы продолжить так интересно образовавшееся веселье. И остановило их лишь появление на поляне командира отряда. Рядом с ним шел капитан Плехман.

– Сидорчук, зови народ, – приказал товарищ Старик.

Когда весь отряд, человек 300, квадратом выстроился на поляне, товарищ Старик вместе с капитаном оказались в центре квадрата. Не торопясь, медленно оглядев всех, товарищ Старик, растягивая слова, начал:

– Товарищи партизаны, офицеры и солдаты Красной Армии. Наши советские войска идут и идут вперед, на запад. Фашисты откатываются назад. Но война еще продолжается. У гитлеровцев от злости появилось второе дыхание. Они сражаются ожесточенно и до конца. Большие потери несут и наши. Вчера ночью наши вновь освободили деревню Березовку, а сегодня, как вы знаете, – Федоровку. Части Красной Армии двигаются к узловым станциям. За нее немцы будут биться на смерть. Это факт. Им дан приказ: умереть, но ни шагу назад. Чтобы облегчить продвижение наших регулярных частей, мы должны отвлечь внимание крупной сосредоточенной силы противника, которая расположена в деревне Петровка. Вы знаете, численность фашистских вояк там достигает до тысячи. Они хорошо вооружены, у них много тяжелого орудия, минометов. Для ускоренного и безболезненного продвижения наши воинские части хотят обойти Петровку незаметно, чтобы не ввязываться в бои. А нас просят организовать внезапное нападение. В общем мы должны проделать отвлекающий маневр и своими силами взять Петровку. Задача не из легких. Сами понимаете, силы неравные, но у нас есть своего рода преимущества: во-первых, это – внезапность, во-вторых, они ждут, как сообщил лейтенант Федоров, наступления Красной Армии с восточной стороны Петровки, то есть со стороны Федоровки. Ну и пусть ждут. Им виднее. А мы двинемся на них с их обеспеченного тыла: северо-запада. Уже с той окраины они никак не будут ожидать нас. В-третьих, Петровку мы с вами знаем отлично – это тоже много значит в случае уличных боев.

Учтите еще один момент. И Березовка, и Федоровка, и Петровка все три деревни один раз уже освобождались нашими войсками. На днях немцы вновь оккупировали их. Люди только начали было дышать воздухом свободы, как опять появились завоеватели. Вы понимаете, какое сейчас надломленное состояние у жителей этих деревень. Они перестали верить в настоящее, реальное и полное освобождение. Стали сомневаться в нашу с вами победу. Поэтому постарайтесь после сражения поувереннее вести с ними разъяснительную работу, убедить их. Это очень важно! И для них, и для нас с вами.

Товарищ Старик замолчал. И, решив, что его просьбы дошли до каждого партизана, продолжил:

– Лейтенант Федоров, помимо сержанта Оганесяна и солдата Ройтмана мы даем в ваше распоряжение еще человек пятьдесят. Командуйте, лейтенант!.

Затем медленно обвел взглядом всех партизан, вздохнул и сказал:

– А теперь, товарищи, всем разойтись и отдыхать, а командирам и политработникам остаться.

Товарищ Старик закурил и повел всех оставшихся в землянку.

– Товарищ Федоров, – как только они расположились за столом, начал товарищ Старик, – перед вашей ротой ставится особо важная задача: маленький отвлекающий маневр. Если немцы ждут нападения с восточной окраины деревни, то и пусть будет так. Надо, чтобы оттуда на них и напали. Вы меня понимаете? Так вот. – Товарищ Старик на минуту потупил взор, будто бы хотел вспомнить, о чем дальше говорить. После минутного молчания посмотрел на Федорова и продолжил: – Вы должны отвлечь внимание всего гарнизона. Они должны поверить, что наступление идет именно со стороны оборонительных сооружений. Характер этих сооружений вы примерно представляете – сами участвовали в их строительстве. Пусть майор потирает от удовольствия руки, будто он правильно оценил обстановку. Пусть заранее радуется. Для имитации настоящего крупномасштабного нападения мы дадим вам одну пушку, из которой, конечно же, пуляйте, но точно, а то, – он вновь потупил взор и, помолчав, не поднимая головы, добавил: – А то по своим в барак попадете. Сделав паузу, продолжил: – Вперед не лезьте. Пока только ведите огонь. В случае чего дружно отходите. Но бой и при отходе продолжайте. Они вынуждены будут одновременно включиться в бой и с нами. Так что, не зная, сколько вас в восточной части деревни, они не смогут рискнуть и перевести на наш участок людей. Откроем огонь и мы и вы одновременно: ровно в пять утра. Значит, мы выйдем к своим участкам ровно в четыре. Если придете раньше, а вы должны быть там раньше пяти, заляжете недалеко у перелес-

ка и дождетесь своего часа. Раньше времени не начинать, учтите. Будет темно, они вас не заметят. Но не курить, не зажигать никакого огня, не создавать никакого шума – все должно делаться тихо, незаметно, потому что их охранение ночью и днем бодрствует. И ровно в пять начинаете. Все ясно? И еще: поберегите людей – они на вес золота. Но если почувствуете, что немцы на вашем участке выдыхаются, идите в наступление. А это может произойти часов в шесть, в начале седьмого.

* * *

Близились сумерки. В лесу они наступали довольно быстро. На поляне шла оживленная подготовка к завтрашнему бою. Каждый был занят своим делом. Федоров собрал переданных в его командование людей. Разъяснил задачу и приказал: “А теперь всем отдыхать – завтра рано наступать, да и бой ожидается нелегким”.

Ройтман смотрел на Федорова и как-то впервые почувствовал, как четко, кратко и убедительно умеет он разъяснять задачу. Причем делает это требовательно-жестким, но одновременно доброжелательным тоном. Раньше, может быть, Ройтман не придавал значения этому. На войне как на войне – одни приказывают, другие выполняют. И никто никогда не задумывается на том, как командиры ведут разъяснительные работы, умеют или не умеют приказывать, требовать... А тут, в спокойной обстановке по-особому бросилось в глаза поведение лейтенанта. Особенности искорки горели в его синих глазах, весь он подтянулся, будто и не было за плечами нескольких тяжелейших дней сражения у узловой станции, у товарняка, будто бы не было плена, побега и растерянности. Он стал солиднее, повзрослел буквально на глазах, стал более опытным, хоть батальоном командуй. Будто бы от пережитых волнений и следа не осталось. Дали ему роту – и он весь преобразился, вновь почувствовал себя нужным человеком, офицером.

– Увидимся ли мы завтра со своими? – вывел Ройтмана из раздумья Оганесян.

– Да, да увидим, – быстро заморгав глазами и стараясь уловить, о чем тот говорит, подтвердил Ройтман. А потом добавил: – И обязательно наших надо будет похоронить.

– Волнуешься? – тихо спросил Оганесян.

– Очень, – без тени смущения, открыто признался Ройтман. – Не за бой, хотя и за него, но за товарищей в бараке. Волнуюсь и от предстоящей встречи с погибшими товарищами. Лежат... и ждут, когда мы их похороним...

– Да-а, – протянул Оганесян, – и похоронки на них надо будет рразослать: там-то герройски погибли, там-то захорронены...

– Все понятно, Васген, – мрачно ответил Ройтман. – Но скажи, кто нам их вернет? Кто вернет моего братишку Арона? Я же тебе рассказывал о нашей с ним встрече?

– Р-рассказывал, р-рассказывал, бррат Иосиф. Но что поделаешь – война. Пр-проклятая война. Когда тур-рки уничтожили столько армян, слышал же, в гор-рах Армении какой плач стоял?! И сейчас стоит. Стоит, доррогой Иосиф, стоит. И даже камни плачут, Иосиф, камни! – еще сильнее закартавил Оганесян от сильного волнения.

Вспомнили, загрустили, Подошел Федоров. Обнял товарищей за плечи. Посмотрел на их грустные лица, понял их состояние, помолчал и сказал:

– Ладно, ребята. Оставим меланхолию. Завтра своих выручать будем. – Он крепче обнял их и притянул к себе.

Так стояли три фронтовых друга, обнявшись, без слов, мысленно подбадривая друг друга. Глядя на них со стороны, можно было подумать, что три товарища по оружию молча дают клятву в верности, в прочной дружбе и в том, что постараются отомстить за всех псгибших, за родину свою.

*

Беспокойно будут спать они и в эту ночь перед наступлением. Не раз то один, то другой, проснувшись, сядет и начнет с беспокойством думать, не проспал ли он сборы... Лейтенант Федоров станет во сне кричать: “Ройтман, бежи, тебя хотят расстрелять!” И понимая, что Ройтману некуда бежать, застонет. Потом, решив, что Ройтман все-таки делает попытку бежать, крикнет, как в бою: “Старшина Москаленко, прикрой солдата Ройтмана!” А потом появится какая-то пустота, бездна. На время Федоров впадет в глубокий сон. Дыхание станет ровным, спокойным. А проснувшись от криков своего сонного командира, Оганесян и Ройтман, думая, что они еще находятся там, в бараке, беспокойно посмотрят вокруг, чтобы понять, кто кричит и откуда. Не соображая ничего, вновь расположатся на соломе, но уже долго не смогут заснуть.

– Слушай, Васген, не Федоров кричал во сне? Я слышал свою фамилию.

– Может быть. – Помолчав, добавил: Прпредставляешь, Иосиф, все время мне кажется, что мы еще там. Не веррится, что убежали. Понимаешь? Неужели нам повезло? А, Иосиф?

– Да, дорогой Васген. Не зря же говорят в таких случаях, что человек в белой рубашке родился. Ты понимаешь, Васген, если бы мы спали нормальным, крепким человеческим сном, то нас бы из пушки не разбудили. Плохо мы спали. Мне все время снилось, что вот дверь барака открывается и этот хер лейтенант, глядя в бумажку, выкрикивает: “Юде Ройтман, лейтенант Федоров, коммунист Тимофеев... выходить из барака!”

– А меня все время во сне сопровождал плач красавицы Манушак. Ох, Иосиф, как этот плач у меня в ушах стоит! Поверить не сможешь.

– Ребята, вы чего? – вдруг неожиданно поднявшись и сев, сонно спросил лейтенант Федоров.

– Плохо спали, товарищ лейтенант?

– Безобразно. Какие-то кошмары виделись все время.

А потом, сделав небольшую паузу, стал невпопад говорить:

– А все-таки хорошо, что все мы трое из одной роты! Это здорово! И сдружались мы крепко. Как вы думаете, фашисты раненых расстреляли? Тех, что в вагонах? Вот я о чем подумал. Когда после рукопашной вас выстроили, Якубова и Петренко в последнюю очередь привели. Кажется мне, что они вообще не участвовали в схватке, а отсиживались в вагоне. Так вот я и говорю: если они оставались в вагоне, то не расстрелял ли Якубов того нашего тяжелораненого парня?

Оганесян и Ройтман ничего не ответили. Дядя Федоров и не ждал от них ответа: он рассуждал просто для себя.

Сидели. Молчали. Затем Федоров спросил у дежурного партизина время. До сбора оставалось еще два часа. Каждый вновь углубился в свои думы. Ройтман почему-то вспомнил, как ему в военкомате заявили:

– Нечего проситься. Мы знаем, кого призывать. У вас броня и, пожалуйста, работайте на своей бурильной установке.

– Понимаете, товарищ подполковник, на свое место я нашел хорошего специалиста и человека. Лучше меня будет трудиться. – Он открыл дверь, выглянул в коридор и позвал:

– Мамед-ага, идите сюда.

– Вай. Что же получается? Военкомат – отдел кадров что ли, – проворчал Мамед-ага.

– Не сердись, Мамед-ага, проходи побыстрей.

Было Мамед-ага лет 60. Опытный нефтяник, он более сорока лет добывал нефть. Сейчас находился на пенсии. Когда началась война, пришел Мамед-ага к Иосифу и сказал:

– Иосиф, сынок, возьми снова в свою бригаду. Людей теперь везде не будет хватать, а я могу еще пригодиться.

Вот тогда и пришла к Ройтману мысль поставить Мамед-агу вместо себя мастером.

Когда Мамед-ага вошел в кабинет военкома, тот сразу встал, вышел из-за стола и направился с широкой улыбкой на лице к старику. Он двумя руками пожал ему руку и вежливо пригласил:

– Добрый день, добрый день, дорогой Мамед-ага. Проходите, пожалуйста. Садитесь.

И когда Мамед-ага присел, военком с хитринкой в глазах спросил его:

– Это он что ли вас привел?

– А кто же еще!

– Вы знаете, что он на фронт просится? А кто будет нефть добывать?

– Как? Он на фронт просится!? – страшно удивился Мамед-ага. – А мне об этом ничего не сказал. Пойдем, говорит, Мамед-ага в военкомат – дело, говорит, есть. Ну, я и пошел.

– Да, на фронт, – как бы раздумывая над чем-то, рассеянно повторил военком.

Военком оказался соседом Мамед-аги по дому и поэтому тот встретил его со всеми почестями. Ройтман был доволен таким исходом дела.

– Ну что ж, придется просьбу товарища Ройтмана удовлетворить, – и военком тяжело вздохнул. А потом в задумчивости произнес: – Не знаю, что и сказать. Не знаю. Одни стараются всячески бронь заполучить, а ваш мастер сам на фронт напрашивается. Не пойму, дорогой Мамед-ага, я людей. Честное слово, не пойму.

– Иосиф всю родину хочет защищать, а те люди, про которых вы говорите, только одну свою шкуру. Разница есть?

– Есть, валлах есть, – с улыбкой на лице, довольный удачным примером, приведенным Мамед-агой, подтвердил военком.

... А Оганесян в это время мысленно находился на своем родном заводе в Кировобаде. То ему представлялось, как весь цех, начальником которого он был, высыпал к проходной встречать его, то ему казалось, как в заводском клубе чествуют их, защитников родины. Цветы, улыбки, рукопожатия.

– С возвращением вас, товарищ начальник цеха!

– С победой вас, Васген Петросович!

Все поздравляют, руки жмут, цветы преподносят, но никто из молодых красивых девушек так и не поцелует его. Тогда он сам набирается смелости и одну, вторую, третью крепко-крепко целует в губы, в щеки. “Не знаю, как им, но мне очень приятно!” – с улыбкой подумал размеч-

тавшийся Оганесян. То ему казалось, что его цех не выполнил плана, а он, сердитый, кричит, нет, не кричит, а громко и убедительно говорит:

– Представьте себе, что все воины одного полка или одного батальона не стреляют во время боя в фашистов. Представили?

– И что они делают? Спят что ли? – с усмешкой спросил самый язвительный человек в цехе Рашид Магомаев.

– Нет, они не спят, – старается быть спокойным Оганесян, – не спят, но и не стреляют. Что же тогда произойдет? Враги наступят, сомнут нас и от нас мокрого места не останется. Все ясно? Так и вы. Фронт у боеприпасов, оружие нужны, а вы план не выполняете! Тем самым вы фашистам помогаете. Ясно?

Оганесян с удовлетворением отметил про себя, как такое сравнение сильно воздействовало на людей. Они разошлись по местам с опущенными головами. Каждый из них теперь, наверное, думал так: “Умру, до утра спать не буду, а свое выполню!”

От подобных мыслей на душе у Оганесяна стало теплее. Он улыбнулся себе, сел поудобней и подумал: “Что только в голову не придет!”

А вообще до войны он не помнил случая, чтобы его цех плана не выполнил. Брак? Брак бывал, это честно. Но план все равно выполняли. “Как странным кажутся – дела военные и дела мирные, заводские! – думал Оганесян. – Что по сравнению с войной жизнь одного цеха, завода!? Вспомнишь, как жили, ругались, потели, корпели – в общем суетились, как муравьи – и диву даешься: как все это сейчас, на расстоянии, с высоты ожесточенной, кровопролитной войны кажется мелким, обыденным. Здесь, на войне, все на прочность проверяется, испытывается: и твоя душа, и твои поступки, словом, все. Здесь расстановка суровая: хочешь не хочешь, а кто ты есть, сразу выясняется. И за все должен держать ответ по-военному. А почему там, на заводе, за брак не призывают к ответу? Почему не наказывают сурово? Почему?”

Оганесян так увлекся своими рассуждениями, что не замечал, как порой свое возмущение сопровождал резкими движениями, горячился. Успокоился лишь тогда, когда лейтенант как-то сразу резко обратился к нему и Ройтману.

– Ребята, постойте, постойте, – попросил он их, взяв обоих за руки, будто они могли ему помешать в чем-то. – Вы знаете, – тихо-тихо, чуть ли не шепотом заговорил он взволнованным голосом, – я четко слышу мелодию, которую наигрывает на баяне мой сосед, дружок Петр.

Потом в такт музыки, которую слышал только он один, стал покачивать головой. А его синие глаза светились при этом даже в этой полутемной землянке.

– Как он играл! Как! – стал восхищаться Федоров. – А как он пел! За сердце брал. – Потом помолчал, задумался и грустно заключил: – И вообще такой чудесный парень был этот Петя! – Он совсем при этом расчувствовался, а затем, спохватившись, спросил: – Да я, кажется, рассказывал вам о нем?

– Да, товарищ лейтенант, говорил, – подтвердил Ройтман. – Это тот самый товарищ, которому жена изменила.

– Как в жизни все странно получается? – стал рассуждать Федоров. – любил одну, а женился на другой. И не от души. Красивая? Ну и ладно. А какая она там человек – этому мы, к сожалению, особого значения не придаем. А зря. Да, но так мы, повзрослев, думаем, взвешиваем. В молодости об этом не думаешь! Там одними чувствами, эмоциями действуешь. Надо как на войне: все проверять на выдержку. Здесь редко ошибешься. Вот почему разведчики знают друг друга досконально! Э-э там у них, если ты проявил себя не так, тебя больше в разведку не возьмут – подведешь.

Федоров еще долго рассуждал о верности, преданности, а Ройтман при слове разведка вспомнил, как при остановке товарняка истошно кричал тот самый молодой солдат, который требовал двигаться дальше. Он вновь мысленно перенесся на то место и четко все увидел и услышал сначала до конца. Опять слышался ему крик того солдата, рев фашистских “мессершмитов”, свист трассирующих пуль и зычный голос, выкрикивающий “во-о-здух” и “не-е-мцы справа”.

Ройтман вспомнил все это и на душе сразу стало неуютно. Постарался прислушаться к голосу Федорова, чтобы можно было отвлечься от своих мыслей. Федоров продолжал философствовать все на ту же тему, но уже без конкретных примеров. И в голосе его слышались нотки негодования, раздражения, злости против таких, как Клавка. “Это хорошо, что он злится” – почему-то подумалось Ройтману. А потом пришел к выводу, что им с Оганесяном вообще повезло на хорошего командира, доброго и честного. “Толковый он, справедливый”, – с братской нежностью оценил он своего командира.

Как только Федоров высказался и остановился, Ройтман и Оганесян, которых уже одолевал сон, сразу в один голос обратились к нему:

– Часик поспим, товарищ лейтенант?

Федоров кивнул головой: его самого клонило ко сну. Он спросил у партизана время и, уже зевая, сказал:

– Еще час в нашем распоряжении. Ты, дружище, в случае чего разбудишь нас?

– Не беспокойтесь, товарищ лейтенант. Все будет сделано. Я-то завтра отосплюсь. Меня с ранеными оставляют, – проворчал он, недовольный.

Зря сердишься, дружище, – комкая солому руками и подкладывая ее поудобней под голову, сказал Федоров. – Любую задачу нужно глубже понимать. Раненые – это опять-таки завтрашние воины. А ты должен знать, что каждый человек во время войны на вес золота. Понятно говорю?

– Понятно, товарищ лейтенант. И товарищ Старик так всегда говорит.

– Это я тебе коротко объяснил, а то можно лучше и обстоятельнее. Ну, если понятно, пожалуй, и этого достаточно – и он повернулся на бок, и по-мальчишески подложил себе под щеку ладонь.

* *

А на рассвете началось. Партизаны под командованием товарища Старика сделали крюк вокруг деревни – они пошли совсем не тем путем, на который рассчитывали немцы. Строительство оборонительных рубежей, по сути дела, оказалось пустым делом. Части Красной Армии вообще обогнули деревню с юга и направились быстрым порядком в сторону узловой станции.

Федоров со своими людьми вел массированный огонь по немецким укреплениям на восточной окраине деревни, у перелеска. Одно время казалось, что немцы бросятся в атаку, но что-то их, по мнению Федорова, удержало.

– Обер-лейтенант, как вы там держитесь? – кричал в трубку майор.

– Нормально, герр майор. По всей вероятности, это небольшой партизанский отряд. Разрешите атаковать их.

– Ни в коем случае, – продолжал кричать майор. – Мы поняли – это отвлекающий маневр. Партизаны напали на нас с северо-запада, с тыла. Понимаете, обер-лейтенант? Так что держитесь там. А мы тут постараемся отбросить партизан. И ни шагу назад!

Затем майор попросил связиста срочно соединить его с узловой станцией.

– Господин полковник, майор Дитрих на проводе. Разведка подвела. Красных частей нет. Есть партизаны. Они напали на нас с востока и с запада. Что? В пять часов утра, да. Еще темно было. Но это им не помешало – они хорошо знают местность. Незаметно подошли. Господин полковник, мы не знаем, сколько их, не знаем их возможностей, но их вылазка со стороны обеспеченного тыла и обескураживает, и обеспокаивает. Мы потеря-

ли только за полчаса внезапного нападения более ста солдат и офицеров. Может, нам нужна будет ваша помощь, господин полковник.

И разъяренный полковник, который поначалу не хотел испортить настроение майору, чтобы это затем не отразилось на общем духе солдат его гарнизона, теперь же после слов “может, нам нужна будет ваша помощь”, захлебываясь, в истерике заорал в трубку:

— О какой помощи вы говорите, господин майор? Да будет вам известно, ровно в пять часов утра одновременно начался штурм и узловой станции со стороны тех самых красных частей, которых вы ждали со дня на день с восточной окраины своей проклятой деревни. Своими силами отбивайтесь, своими силами. И молитесь богу, господин майор, что красноармейцы обошли вас. И не смейте создавать в гарнизоне панику. Все. Докладывайте каждые полчаса. И помните: вот-вот вам подбросят подкрепление. Помните об этом!

Майор не успел отчеканить “будет сделано, герр полковник”, как в трубке послышались гудки. Последние слова полковника вызвали раздражение у майора: “Зачем врать насчет подкрепления?! Что это? Своеобразный допинг для нас? Ну и мерзавец же этот выскочка, полковник!”

Тем временем партизаны вошли на западную окраину Петровки. Бои шли за каждую улицу. Внезапность дала большое преимущество партизанам.

А у перелеска, чувствуя, что немцы особого рвения не проявляют, Федоров решил сделать ложный ход: пустил вперед человек десять с криком “ура”. Федоров хотел проверить, не побегут ли фрицы. Нет, не побежали. И вперед не идут. Значит разгадали маневр и решили обороняться. Тогда Федоров приказал первой десятке, залегшей на подступах к немецким рубежам, забросить окопы гранатами. Подействовало: оттуда сразу повыскакивало несколько человек и побежало в сторону деревни. Федоров видел в бинокль, как знакомый обер-лейтенант с пистолетом в руке стал на пути убежавших и, угрожая им, кричал, чтобы те заняли прежние позиции. Немцы быстро вернулись. Тогда Федоров пустил вперед еще десятку своих людей с южной стороны перелеска. Задание – засыпать окопы гранатами. Растерявшиеся немцы и вовсе не думали, что и с этого края на них нападут партизаны. Они замешкались, запутались, засуетились. В это время после очередных взрывов гранат горстка советских смельчаков прыгнула в окопы и пошла крошить обескураженных фашистов. Вот тогда Федоров с криком “ура” бросился с остальными партизанами вперед.

Обер-лейтенант, который не ждал помощи от майора и который сегодня был злым как никогда, но чувствовал, что всех его людей сейчас перестреляют, дал приказ отступать. С небольшими потерями рота Федо-

рова без остановки преследовала убежавших и отстреливающихся гитлеровцев. Когда Федоров со своими бойцами добежали до барака, где находились их фронтовые товарищи, он услышал, как по всей деревне разливается волной дружное партизанское “ура”. Поняв, что дело идет на добывание фашистов, Федоров в нарушение приказа решил, прежде чем соединиться с основным отрядом, не дожидаясь конца боя, высвободить из плена родных советских воинов.

Они втроем – Федоров, Ройтман и Оганесян – выступили вперед, двумя-тремя ударами выбили замок и быстро вбежали в барак. Резко остановились – со света ничего нельзя было разглядеть. Мертвящая тишина, царившая в бараке, щемяще подействовала на троих. Несколько минут они стояли в оцепенении, пока наконец не услышали живого голоса.

– Да никак наши пришли, – тихо и неуверенно произнес один.

– Дурень, да это ж командир роты, лейтенант Федоров. Не узнал что ли? – воскликнул другой.

– А мы решили, что ... – начал было третий и, не выдержав, заплакал... – мы-то думали, что немцы... за нами пришли. Ну, думаем, наверное, отступают, вот и хотят всех нас...

– Вот здорово! – услышали наконец трое знакомый, простуженный и ставший родным голос старшины Москаленко. Он встал во весь рост, позабыв от нахлынувшей радости нагнуться, чтобы не задеть головой за балки, и направился к двери барака с распростертыми объятиями и со слезами на глазах, повторяя от волнения одни и те же слова:

– Вот и свиделись. Вот и свиделись. Родные вы наши. Смелчаки вы наши. Как мы тут за вас пере... – И он поочередно обнял своих дорогих фронтовых товарищей.

Через час после освобождения Петровки все – и партизаны, и освобожденные из плена воины, и жители деревни, двинулись к железной дороге, к товарняку. Похоронили погибших товарищей в одной братской могиле. Майора Ростовцева и капитана Байрамова – отдельно.

Прогремели прощальные залпы. Задумчиво и трогательно выступил лейтенант Федоров. И партизанский отряд отправился на помощь Красной Армии, части которой вели ожесточенные бои на подступах к узловой станции...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Лейтенант Иван Федоров станет командиром батальона, дойдет со своим батальоном до Берлина и вернется домой, в родное Ставрополье, в чине майора. Старая Никитична, наглядевшись на сына, расскажет ему о

новостях своего городка. Петр, муж Клавки, погибнет на чешской земле. Зинаиду, смело предложившую свою любовь Петру, так и не будучи замужем, станут называть солдатской вдовой.

– А что Клавка? – спросит Иван.

– Клавка, не выдержав людских упреков, продала дом за бесценок и уехала куда-то со своим любовником.

– А Зинаиду ты хоть видела?

– Как же, сынок, не видела. Как только Петр ответил согласием на ее письмо, так мать Петра сразу к себе в дом и привела ее. Так она и поныне живет с Надеждой Павловной, свекрухой своей. Красивая Зинаида, представительная.

– Познакомь меня с ней, – после недолгого раздумья, слегка покраснев, неловко попросит Иван.

Не мог сказать он матери о том, как часто на войне в часы передышки он думал об этой прелестной девушке. Думал – и всегда казалось ему, что пришла она из какой-то доброй и хорошей сказки.

– Что ж, сынок, – обрадовавшись за сына, скажет Никитична, – попробую. Только удобно ли будет говорить об этом с Надеждой Павловной? Но я постараюсь.

Никитична хотела придумать предлог, чтобы заявиться к Надежде Павловне. Долго думала и ничего не надумала.

– Мать, а ты прямо и скажи ей так, мол, и так, – поняв состояние матери и видя ее нерешительность, пояснит Иван.

– Так-то проще будет, – согласится Никитична. – Постараюсь, чтобы не обиделась она.

И пойдет Никитична как-то вечером к Надежде Павловне домой.

– Знаю, Павловна, – начнет Никитична издалека, – горе у тебя неизбывное. Уж год-полтора прошло как похоронку-то получила. Но жизнь на месте не стоит. Что ж теперь Зинаида так и должна ходить вдовой? Жалко ведь ее – молодая, красивая, добрая. Чего же ее наказывать? Посчитай за дочь и отдай ты ее замуж. Благодарна она будет тебе.

Скажет все это старая Никитична и помолчит, ожидая, как воспримет Павловна ее слова, что скажет в ответ. Думала, что осерчает она на нее. Нет, не осерчала. Отнеслась с пониманием.

– Ты что ж, Никитична, не за своего ли Ивана пришла сватать Зинаиду? Иван дружил с моим Петром. Он у тебя хороший человек и офицер большой. Что ж, если слюбится, то, как говорится, с богом.

Так встретятся вновь Иван Федоров с Зинаидой. Они понастоящему полюбят друг друга. Сыграют свадьбу. Первенца своего Петром назовут.

Старшиной, кавалером орденов Славы вернется в Кировобад Васген Оганесян. Узнав от соседей, что жена Айкануш и дочь Асмик все еще у матери в Армении, отправится в свое родное горное село. Все село будет приветствовать своего отважного земляка. Обнимет Оганесян своего друга детства, школьного учителя Ашота. В тот же день мать, соседи по просьбе Васгена поведут его к памятнику, сооруженному в честь односельчан, отдавших жизнь за родину. И это маленькое горное село потеряет на полях войны семерых своих сынов.

Постоит Васген молча с земляками у памятника. Потом напьются холодной, прозрачной воды из родника и присядут под большим орешником. И заведут, как бывает в горах, свою неторопливую и непринужденную беседу.

– А что Манушак? Так и живет у дяди в Ерреване? – спросит Васген.

– Э-э, сынок, горе вечным не бывает, – ответит старая мать. – Жизнь всегда свое берет. Род человеческий прекратился бы, если бы люди одним горем жили. Говорят, ходил к профессору аспирант какой-то. Своим вниманием, своей добротой, говорят, растопил душу Манушак. И через два года вышла она за него замуж. Теперь, говорят, у нее два сына растут – Сурен и Аветик. Ну что ж, дай-то ей бог. А что было, сынок! Все село в трауре ходило. Как забрал ее дядя, то все облегченно вздохнули – шутка разве, сынок, видеть как она каждый день себя избивает. Нельзя, сынок, долго с горем жить. Нельзя. Иначе жизни не будет, замрет все на белом свете.

• – Веррно, мать, говоришь, – согласится Васген. – Так и на войне. Скольких товарищей мы потеряли! И каких! Если бы одним горрем жили, то погибли бы все остальные. Войну бы прроигррали. Какая польза от горремычных? Прправду, говоришь, мать, прправду. – Помолчит, а потом спросит: А кто этот памятник так славно соорудил? Из туфа! – и он нежно проведет ладонью по гладкой поверхности плиты.

– Каменщик Гурген.

– А где сейчас дядюшка Гурген?

– Умер он в прошлом году, сынок. Поставил этот памятник и умер. Хороший был человек, царство ему небесное. Надо бы, говорит, памятник после победы поставить, да чувствуую, говорит, не успею.

– Ну что ж, мать, правильно ты сказала: надо ррод человеческий прродолжать. Собирайся с нами в Кировобад. Будешь с нами жить. А в

село будем летом приезжать во время отпусков. Воздух здесь чудесный! Дышать легко.

* * *

Иосиф Ройтман получит три осколочных ранения и одну контузию. Один осколок хирург вытащит ему без наркоза: Ройтман не позволит вводить его себе. Тогда хирург прикажет санитарам держать его за руки и ноги, чтобы не вырвался. Вытерпит операцию. Потом хирург после операции скажет ему: “Ну и здоров же ты, голубчик! Без наркоза – это ж надо! А как ругался! На чем свет стоит”

При очередном обходе палат хирург спросит:

– Ну что, голубчик, будем делать с двумя другими осколками?

– А глубоко они сидят? – уточнит Ройтман.

– Да нет вроде бы неглубоко. Один под кожей между лопатками. А другой в ноге чуточку глубоко засел. Ну так что будем делать, голубчик?

– Не умру же я от них, доктор?

– Нет, голубчик, умереть не умрете, но все же инородное тело...

– Ну и пусть сидят. Надо же о войне память оставить.

– Память о войне, голубчик, как мне кажется, вы оставили неплохую: вон сколько на гимнастерке орденов да медалей вам повесили – позавидуешь.

Вернется Ройтман домой прямо из госпиталя. На бакинском вокзале встретят его жена Берта и сын Давид. Возьмет он сына на руки. И мальчик, не узнав отца, заплачет и попросит опустить его на землю. А жена с радостными слезами на глазах станет уговаривать сына:

– Ты что же, родной мой мальчик? Да это же наш папа! Он с войны вернулся. Я тебе о нем много рассказывала.

Мать будет успокаивать сына, убеждать его, что это его родной отец, а Иосиф Ройтман подумает между тем и о других, страшно губительных последствиях войны: о том, как дети не узнают своих отцов, матери и жены – вернувшихся мужей, сыновей, поседевших и постаревших раньше времени. “Прожил мальчик без меня четыре года и рос без меня – и что удивляться? – и за это время стерлись в памяти маленького мальчика родные отцовские черты”, – с горечью подумает Ройтман.

Но самое тягостное ощущение будет чувствовать Ройтман при входе в родной двор. Берта расскажет ему по дороге о том, что одни соседи вернулись инвалидами, некоторые пропали без вести. Двор большой, соседей много. Хоть и происходили здесь обиды, скандалы, хоть и завидовали порой друг другу в чем-то – все бывало в этом огромном дворе – все равно

потом все устроивалось со временем благополучно и опять жили все одной большой и дружной семьей. Если в чьей-либо семье случалось горе, то оно было общим горем. Если в чью-то семью приходила радость, то счастливы были все остальные. Таковы непреложные законы и правила человеческого общежития. Вот теперь Иосиф должен был войти во двор, где, конечно же, соседи давно, еще с утра, сидят на лавках и ждут его появления. Ведь как-никак одним из первых возвращается – событие! Но реакция соседей на его появление будет неоднородной. Те, кто потерял на войне мужа или сына, отца или брата, будут с завистью, присущей всем людям, и некоторым отчуждением смотреть на него, вернувшегося живым и невредимым. Одни радостно поприветствуют его, другие – чуть сдержанно.

– С победой тебя, Иосиф! – скажет старик-часовщик со второго этажа.

– С благополучным возвращением, Иосиф! – крикнет с дальнего угла двора бойкая, озорная тетушка Ругия.

– Поздравляю тебя, Берта, с возвращением мужа! – обнимет ее соседка Шафига, которая присматривала за Давидом.

А потом посыпятся уже и такие мучительные вопросы, на которые, конечно, Иосиф не сможет дать ответа.

– Иосиф, сыночек, не встречал ли ты моего родного сына Ахмеда? – спросит тетушка Гюльшан, полуслепшая от горя и слез.

– А где, Иосиф, наш, а? – будто бы он был виноват в гибели не вернувшихся, поставит вопрос ребром одноногий мастер-сапожник Гейдар-ага.

– Везет же людям! – злобно выкрикнет со второго этажа зубной врач, вечный холостяк, седовласый Аскар-ага, которого во дворе и не любили, и не уважали за его грязное поведение и вечную злобу на всех. – Одних совсем нет, хотя бы калеками вернулись, а этот целым и невредимым вернулся! – Потом постоит-постоит на веранде и, не уловив никакой поддержки со стороны остальных соседей, ухмыльнется, мол, как хотите, и исчезнет.

Что было отвечать Ройтману этим людям? Он растерянно и рассеянно кивал головой в знак благодарности и коротко, обрывисто, доброжелательно отвечал:

– Не видал вашего Ахмеда, тетушка Гюльшан, не видал, – обнимет ее и тяжело вздохнет.

– Вернутся еще наши, дорогой Гейдар-ага. Только-только начали разъезжаться по домам. Вернутся... – и пожмет ему руку.

И еще один тяжелый, но своеобразный день выдастся в жизни Ройтмана. И случится это через несколько лет после войны. Его, ветерана

войны, пригласят на встречу со школьниками. Он расскажет ребятам о событиях военных лет, о подвигах своих однополчан... А когда завершит свой страстный, волнующий рассказ, один юноша встанет и задаст ему вопрос:

– Скажите, пожалуйста, а как звали того капитана Байрамова, о котором вы вспомнили?

– Самед Алиевич. А что?

– А у него родинка на щеке была, не помните?

– Не помню, – подумав, ответил Ройтман.

– Можно я сбегаю домой за фотографией отца? Я быстро. Я рядом живу.

Юноша стремглав выбежал из зала. Молчали учителя, молчали учащиеся. Гнетущая тишина установилась в школьном зале. Ройтман вновь мысленно на время перенесся на место остановки товарняка, отчетливо представил лица майора Ростовцева и капитана Байрамова. Представил и сравнил внешность капитана Байрамова и этого юноши. Сравнил – и сразу оживился: он обнаружил большое сходство между ними. И разрез глаз, и темно-каштановая шевелюра, и даже порывистость в движениях – все это подтверждало то, что этот юноша – сын капитана Байрамова.

Через несколько минут в зал вбежал разгоряченный, запыхавшийся Байрамов-младший. Он протянул Ройтману фотографию отца и с нетерпением спросил:

– Это он?

Перед Ройтманом ожил образ того самого подвижного и симпатичного батальонного комиссара Байрамова. Вот только родинку на его щеке Ройтман прежде никогда не замечал – не до мелочей было на фронте. Очнувшись от своих мыслей, Ройтман дрожащей рукой поднял фотографию высоко над головой и почти торжественно, но дрогнувшим голосом произнес:

– Да, товарищи, это о нем я рассказывал вам, это мой батальонный комиссар Байрамов!

– Это был мой отец! – как-то неестественно нервно и громко выкрикнул юноша, опасаясь, что это право у него могут оспорить. – Это был мой отец! – теперь уже плача навзрыд, продолжал настаивать мальчик и, не устояв на ногах, опустился на стул.

Школьный зал замер. Придя в себя от охватившего его сильного волнения, Ройтман медленно пробрался к юноше и, обняв его за плечи, незаметно вытер тыльной стороной руки непрошеные слезы, тихо и уверенно сказал:

– Да, мой мальчик, это был твой отец! – он приподнял его со стула, еще крепче обнял, поцеловал в мокрые от слез щеки и уже громче произнес:

– Да, ребята, капитан Самед Алиевич Байрамов, заместитель командира батальона по политической части, погибший героически в войне против гитлеровских поработителей, – его отец! Документы нашего дорогого капитана я спас и передал командованию. Я знаю, что сын офицера Байрамова будет достойным своего славного отца и проживет честную и хорошую жизнь!

После той памятной встречи со школьниками Ройтман сразу пойдет с Байрамовым-младшим к ним домой. Об этом горячо попросит его чуть успокоившийся Ровшан.

Ничто – ни в первые послевоенные годы, ни позже – не было для семей фронтовиков так дорого, как вот такие случайные встречи с бывшими сослуживцами их родных, с живыми свидетелями гибели мужа или отца, брата или сына. Такие свидетели становились для них самыми дорогими и любимыми гостями в их доме.

Потом, спустя еще несколько лет, на свадьбе Ровшана Байрамова соберутся вместе секретарь горкома партии, майор запаса Иван Федоров с женой Зинаидой, начальник цеха завода из Кировобада, старшина запаса Васген Оганесян с женой Айкануш и заслуженный нефтяник, буровой мастер, рядовой запаса Иосиф Ройтман с женой Бертой. И вспомнят они еще и еще раз свои фронтовые будни: и то, как попали в плен у товарняка, и то, как, рискуя жизнью, совершили побег из плена, и то, как освободили потом своих товарищей из плена и многое-многое другое.... А их жены, гости, присутствующие на свадьбе, тихо всплакнут и незаметно краешком платочка смахнут появившуюся слезу...

* *

Шальная пуля оборвет жизнь замечательного человека – славного воина и доброго друга, старшины Москаленко. В самый последний день войны сразит его фашистская пуля. Прямо на глазах своего командира майора Федорова. Не успев ничего сказать, упадет он на руки воинов из своего взвода. Но память об этом грузном и смелом человеке с хриплым, простуженным голосом навсегда сохранят в своих сердцах его трое фронтовых друзей.

*

Товарищ Старик, командир партизанского отряда (Николай Кузьмич Корнейчук) вплоть до весны 1946 года будет со своими партизанами успешно вылавливать и уничтожать остатки бандитских и фашистских группировок, долгое время наводивших ужас на мирное население освобожденных территорий. Полковником запаса вернется Николай Кузьмич в свою родную деревню, где его изберут председателем колхоза.

Через несколько лет ему будет присвоено звание Героя Социалистического Труда. И еще много лет по инерции или по памяти о совместной борьбе в партизанском отряде будет называть его товарищем Стариком тракторист колхоза Степан Иванцов.

* *

А капитан Плехман? Семен Яковлевич Плехман с регулярными войсками дойдет до Берлина. За смелость, находчивость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими поработителями, и за самоотверженные действия подполковник Плехман будет награжден многими орденами и медалями. Он останется служить в рядах Вооруженных Сил страны.

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Рассказы

- ТАКСИСТ
- СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- НЕПРИСТУПНАЯ
- СКРИПКА
- ИВАН СИДОРОВИЧ
- ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

Рассказ-очерк

МАНУБАХ

Новелла

ПИСЬМО

ТАКСИСТ

В аэропорту Домодедово в ожидании своего рейса я сидел на лавочке и читал газету.

– Фу, еле доехал, – грузно опустившись рядом со мной, произнес пожилой мужчина.

– То с Внуково, то с Домодедово... Не поймешь их, – проворчал мой сосед, обустраиваясь на лавочке.

Он поудобнее расположился, вытер пот с лица и, видя, что я, хоть и держу в руках газету, все же внимательно наблюдаю за его действиями, вновь с охотой заговорил.

– В Одессу лечу. К другу! – то ли мне, то ли саомому себе весело выпалил он, поглядывая на табло и от удовольствия поеживаясь в предвкушении от скорой встречи с другом. – Только вот приболел он немного. Ой, если бы немного. В больнице лежит. С сердцем у него, – и, сказав все это, он сделал сожалеющий вид и при этом чмокнул от досады губами, мол, вот так-то.

Поняв, что мой сосед словоохотливый человек и что читать уже не смогу, я стал складывать газету, настраиваясь слушать его дальше. На вид было ему где-то под семьдесят. Среднего роста, был он несколько тучноватый, но, видно, очень подвижный. Несмотря на возраст, хорошо сохранившиеся светлорусые волосы его были аккуратно зачесаны назад. Глаза его пепельного цвета – источали добро и ласку и были тоже, как хозяин, подвижные. Судя по тому, как сразу завел разговор, чувствовалось, что был он человеком общительным, открытым и умеющим быстро наладить контакт с людьми. “И при этом, – подумал я, – наверное, умеет не надоедать собеседнику, а заинтересовать его. Такие люди, особенно в пути, бывают очень необходимы”.

Чтобы не показаться черствым, бездушным человеком, я решил поддержать его разговор и поинтересовался.

– Сердечник что ли ваш друг?

– Да-а, – ответил он и махнул рукой от досады. – Давно это у него, – и он при этом указал рукой на свою грудь. Жизнь у него так сложилась. А теперь еще и возраст. На четыре года старше меня. Словом, семьдесят на днях исполнится.

Сказав все это, он слегка прослезился.

“К тому же он и сентиментальный,” – удивился я.

А мой сосед тем временем достал платок и под видом того, что вытирает пот с лица, провел им и по глазам.

– В прежние годы на его день рождения мы с женой вылетали, – продолжил он. – Умерла она у меня... В прошлом году, – и он отвернулся и вновь приложил платок к глазам. – Прилетал Леонид Наумович на ее похороны. При-ле-тал, – и он от волнения заморгал глазами и надтреснутым голосом продолжил.

– Теперь, как видите, еду один, – и он развел руками, мол, ничего не поделаешь.

Понял я, что тот Леонид Наумович, о котором он так трогательно вспоминал, был ему бесконечно дорог.

– В прошлом году, как жена... – и он опять поджал от волнения губы, – я на пенсию и ушел – силенок не хватило, – и он слегка улыбнулся. – А до этого... О-о-о, как я шустро и с удовольствием трудился! Главным инженером был... Да-да... И много лет. Вот ушел, как говорится, в отставку. И, представьте, сразу и обмяк.

Я молча и внимательно слушал его: уж довольно интересно рассказывал он. И он, видя во мне благодарного собеседника, вернее, слушателя, говорил и говорил. Потом вдруг он как-то сразу осекся, слегка заулыбался и извиняющимся голосом произнес.

– Извините, не представился. Валентин Павлович Попов, – и он при этом чуть привстал и пожал мою протянутую руку.

Мы познакомились, после чего он некоторое время, видимо, что-то вспоминая, молчал. Он посмотрел на табло и, поняв, что до отлета времени еще много, хитровато и интригующе заулыбался и сказал.

– Если бы вы знали, при каких странных обстоятельствах мы познакомились с Леонидом Наумовичем, – и он тихо захихикал. При этом он, как мальчишка, загорелся, оживился, глаза заискрились от предполагаемого эффекта.

– Ори-ги-наль-но познакомились, – и он от удовольствия негромко, но раскатисто захохотал. – Это ж надо! А теперь вот уже сколько лет – друзья! И какие!? Человек он, скажу вам, изу-ми-тель-ный! А судьба? Она оказалась у него тяжелой. Что там говорить, – он махнул рукой от досады за его судьбу. – Но какой человек!

И он поведал мне, как и при каких обстоятельствах познакомился с человеком, к которому на всю жизнь прикипел и теперь очень торопился.

Ранним июньским утром Валентин Павлович собрал свой чемоданчик и приготовился к отъезду из маленького городка, где он был в ко-

мандировке. Ему надо было добраться до Одессы, затем до аэропорта. Времени до отправки рейсового автобуса еще оставалось, и он решил отправить жене телеграмму: “Вечером вылетаю Москву. Валя”.

Не успел автобус проехать и половину пути, как вдруг ни с того ни с сего остановился. Оказалось, что забарахлил мотор. Валентин Павлович забеспокоился и спросил у соседей, сколько еще до Одессы километров. Узнав, что около 20, от досады выругался в душе: “Надо ж, черт побери! И застрял-то где? Среди степи. Как здесь машину поймаешь?”

Продолжая чертыхаться, он вылез из автобуса. Понимал он, что из Одессы ему еще надо добраться до аэропорта. “Нет, во что бы ни стало я должен сегодня вылететь в Москву! – рассуждал он. – Вот чудак, зачем я с телеграммой поторопился? Нет, как хочешь, а до Одессы надо добраться!”

На всякий случай подошел к водителю автобуса и спросил, как скоро они смогут поехать. Тот ответил, что не знает. “Жди теперь с моря погоды, – решил Валентин Павлович. – Прямо по закону подлости: когда торопишься, всегда такое случается”.

Не успел он “поразмыслить”, как вдали показалась легковая машина. “Вот хорошо! – обрадовался он. – Занято – не занято, а остановить надо!” И хотя машина была еще совсем далеко, он все же заранее поднял руку, боясь упустить ее.

Когда “Волга” (а она оказалась такси и к тому же свободной) притормозила прямо у его ног, он от неожиданности даже отскочил в сторону. Затем быстро подбежал к водителю и сразу с мольбой: “Довезите, пожалуйста, до одесского аэропорта”

– Не могу. Через полчаса у меня перерыв начинается. Возьмете другую машину. Так что только до города, – отрезал таксист.

– Я вам больше положенного заплачу, – решил Валентин Павлович уговорить водителя.

Валентин Павлович, не услышав ответа и поняв по строгому виду того, что если он еще раз будет настаивать, он вовсе откажется взять его, примирился со своим положением и быстро согласился.

– До города, так до города, – и он, открыв заднюю дверцу забросил на сиденье свой чемоданчик, а сам сел рядом с водителем.

Он хотел было в свое оправдание сказать, что, мол, и телеграмму дал жене, что она будет переживать, если не удастся сегодня вылететь... Но он не успел даже додумать свою мысль, как тот резко скомандовал.

– Ремень пристегните!

Валентин Павлович быстро выполнил его приказ и с некоторым неудовольствием выдал из себя слова благодарности.

– Спасибо, что хоть до Одессы согласились довезти!

Водитель сделал вид, что ничего не слышит и, когда пассажир хлопнул дверцу, резко взял с места.

Некоторое время ехали молча. Валентин Павлович, постепенно успокоившись, стал присматриваться к таксисту. На вид было ему лет 60. И, если бы не бездонные синие глаза, то ему можно было бы дать гораздо больше: до того глубокие морщины избороздили его худое лицо. Был он среднего роста. Руки у него были жилистые, крепкие, но тоже в морщинах. Несмотря на свой возраст, он, когда закуривал сигарету одной рукой, другой уверенно держал руль. Видно было, что таксист он опытный, хорошо изучивший психологию пассажиров и умеющий быть с ними кратким и строгим. Но на что еще обратил внимание Валентин Павлович, так это на глубокую тоску, сидящую в его синих глазах.

Валентин Павлович прикрыл веки – хотелось немного вздремнуть: вчера мало и беспокойно спал. Но вдруг у него под ложечкой резко засосало. Он вспомнил, что не ел после вчерашнего обеда: очень уж хотелось побыстрее закончить свои командировочные дела. Подумал, что неплохо было бы где-нибудь быстро перекусить. В следующую минуту решил, что перехватить что-нибудь придется только в аэропорту. “Так будет лучше,” – успокоил он себя. Чтобы отвлечь себя от желания поесть, постарался было предаться воспоминаниям. “Вот скоро ему стукнет 60, а здоровье уже подкачивает. Хорошо, что дочерей замуж выдали! Слава богу, дружно с мужьями живут. Растут славные внуки.

И жена стала хворать. Но все же молодчина – держится. Хоть на пенсии, но все еще работает. Как же это она однажды сказала: “Не отпускают меня, Валя. Вот и все!” “Как не отпускают?” – хотел было спросить он, возмущившись. Но заметив в глазах жены хитрые искорки, смягчился. “Ну да, а то не отпускают?!” – проворчал он. “Ты пойми, Валя, вызывает меня главный инженер и говорит: “Клавдия Петровна, отдел без вас не потянет. Пропадем без вас. Не уходите”. И мне жалко их стало”. “Ишь какая жалостливая нашлась, – усмехнулся он тогда. – Просто скушать будет она без работы – вот и все. Затоскует. Я же ее знаю”.

Машина вдруг резко сбросила обороты, отчего Валентина Павловича слегка качнуло вперед, а потом назад. Уже виднелись жилые дома. “Значит вот и Одесса,” – очнувшись от своих мыслей, с облегчением подумал он. На душе стало хорошо, уютно.

– Значит скоро буду я в своем Подольске! – неожиданно вслух воскликнул он.

Таксиста как током пробило. Машину снова качнуло вперед-назад. Валентин Павлович в недоумении посмотрел на водителя.

– Где вы будете? – эдак неряшливо спросил, всю дорогу молчавший таксист.

– Город Подольск. Это в Московской области. Слыхали? – назидательно ответил Валентин Павлович, удивившись неожиданным интересом молчуна-таксиста.

“Или этот город в диковинку ему, или он там когда-то бывал,” – рассудил Валентин Павлович про себя. Но на что обратил он внимание, это на то, что после его ответа таксист на мгновение пронзил его взглядом своих синих глаз, а затем краешком губ улыбнулся и тяжело вздохнул. В следующую минуту, приняв прежний серьезный вид, таксист вдруг снова закурил, глубоко затянулся, выпустил дым и продолжил путь, уже погруженный в свои думы.

Одесса быстро приближалась. Валентин Павлович вновь остро почувствовал голод. Он взглянул на водителя и, стараясь не показаться назойливым, игриво и с наивной улыбкой на лице тихо произнес.

– Вот если бы еще успеть в городе перекусить? Сил нет – проголодался.

Сказал и испугался – не вызвал ли он этим гнев у таксиста? Он ведь может подумать так: “То торопится и просит до аэропорта довезти, то его до кафе подкати”. И от этого на душе стало немного неприятно.

Между тем таксист упорно молчал и думал свои думы. Он смотрел прямо на дорогу. Валентину Павловичу показалось, что водитель или не расслышал его слов, или не придавал им значения. Таксист попрежнему был сосредоточен и серьезен. “Наверное, устал,” – подумал Валентин Павлович. Крепкие мозолистые руки водителя так небрежно держали руль, что казалось, что он дремлет.

И вдруг произошло нечто неожиданное. Такое, что Валентин Павлович не мог переварить, объяснить.

– Что ж можно и перекусить, – вдруг после долгого молчания, не поворачивая головы, выдавил таксист.

– Вы, наверное, тоже еще не пообедали? – обрадованно и уже смелее заговорил Валентин Павлович, почувствовав некоторое потепление в их отношениях.

– Представьте себе. Я же вам сказал там, на дороге, что у меня скоро перерыв, – искоса посмотрев на пассажира, откликнулся таксист.

– Вот и хорошо! Вместе и пообедаем! – повеселев, объявил Валентин Павлович.

“Если так и дальше пойдут дела, наверняка, он и до аэропорта довезет,” – решил Валентин Павлович. – А то вновь ищи такси...”

– Хорошо бы еще узнать, когда состоятся вылеты на Москву, – осмелев, произнес он.

Не успел он высказать свою просьбу, как водитель, серьезный как прежде, поднял телефонную трубку и нажал на кнопку таксофона. Из трубки сначала слышались хрипы, а лишь потом прорезался голос диспетчера.

– Я Спутник-1. Слушаю.

– Спутник-1, еду с пригорода. Отвез клиента. Сейчас направляюсь в Одессу с пассажиром.

– Спутник-42, через 20 минут у тебя перерыв. У тебя все?

– Нет. Милая, просьба к тебе. Выясни, пожалуйста, сколько сегодня рейсов на Москву и время вылетов.

– Спутник-42, поняла тебя. Через 15-20 минут сообщу. Все.

У Валентина Павловича на душе так потеплело от заботы, внимания таксиста, что, как ни удивительно, он теперь был бесконечно благодарен этому на вид сердитому, угрюмому, но, видимо, сильно озабоченному человеку.

– Вы знаете, я ведь в Одессе впервые, – заговорил повеселевший Валентин Павлович.

– Ну-у, тогда вам надо осмотреть город. Обязательно надо! – страстно и настойчиво посоветовал таксист.

– Простите, а как вас зовут? – совсем осмелев, спросил Валентин Павлович.

– Леонид Наумович, – все так же, не поворачивая головы, представился водитель.

– Меня – Валентином Павловичем, – слегка привстав, назвалс я он.

Теперь у Валентина Павловича и тени сомнения не было в том, что Леонид Наумович отвезет его в аэропорт.

Когда на счетчике появилась цифра 23 и они въехали в город, Леонид Наумович, вытянув правую руку вперед, почти торжественно воскликнул.

– Вот и наша красавица Одесса! – произнес – и будто поздоровался с кем-то из близких.

Валентин Павлович, поняв восторженную интонацию в голосе Леонида Наумовича, даже позавидовал его горячей любви к родному городу.

В таксофоне слышались хрипы, обрывки разговоров и только потом сквозь этот шум пробился голос диспетчера.

– 42-й, я Спутник-1, – и нежный голос девушки четко зазвучал в репродукторе. – Сообщаю расписание вылетов на Москву: 12.00, 18.00. Все. Как понял?

– Спасибо, милая!

Решив, что Валентин Павлович все слышал и понял, Леонид Наумович, сбавив скорость – как бы с почтением к своему городу, въехал в Одессу.

Обедали в кафе. Оба молчали и сосредоточенно ели – настолько проголодались. А когда закончили трапезу, Леонид Наумович подозвал официантку и, не глядя на Валентина Павловича, выслушал названную сумму. расплатился и объявил:

– Вот и начался мой обеденный перерыв, – при этом его бездонные синие глаза, в которых как и прежде сидела глубокая тоска, слегка потеплели от слабой улыбки.

– У меня еще сорок минут времени, так что экскурсия по моей Одессе начинается, – весело заявил он. – Сначала – к знаменитому Одесскому театру. Так что – вперед! – и Леонид Наумович сделал кивок головой вверх, тем самым подчеркивая важность сказанного и добавил.

– Потом купим в авиакассе билет. На какой рейс вы хотите? – голос Леонида Наумовича вновь зазвучал тихо, слегка надтреснуто.

– Ну теперь, наверное, на 18.00.

– Идет, но до 18 очень много времени. Может, поужинаем у меня дома, а? – и в его синих глазах заискрилась лукавая, хитроватая улыбка.

– Нет, спасибо, Леонид Наумович. Как-нибудь... – уже не без волнения от всего произошедшего, чуть не заикаясь, ответил Валентин Павлович.

Валентина Павловича крайне удивляло такое резкое изменение в поведении таксиста. Во-первых, его пугало желание водителя показать ему Одессу. “В какую же сумму эта поездка ему выльется?” – от этой мысли ему стало не по себе, у него даже похолодела голова. Во-вторых, таксист расплатился за себя и за него в кафе. “Почему он это сделал? Как гостеприимный человек?” – ставил перед собой вопросы Валентин Павлович, оставляя их без ответов. Да и не мог он их найти. Все было непонятно ему: то холодное, деловое отношение с ним, то сердитое выражение лица во время поездки, то упорное молчание почти всю дорогу... И вдруг все сразу изменилось в этом человеке! Он как бы сразу распахнул свою душу – показал себя как бы с другой, лучшей, стороны! “Что же произошло?” – недоумевал Валентин Павлович.

Леонид Наумович тихо, будто не желая, чтобы об их плане кто-то знал, расписывал маршрут экскурсии по Одессе, а он, Валентин Павлович, в это время судорожно думал над тем, сколько же денег останется у него после приобретения билета и, как, не обидев своего нового знакомого, отказаться от такой идеи. Но с другой стороны. он полагал, что если

Леонид Наумович за свой счет накормил его, просил побывать у него дома в гостях, то навряд ли он возьмет у него деньги за эту экскурсию. “Значит, это ему самому приятно,” – успокоил сам себя Валентин Павлович.

У знаменитого театра разговорившийся Леонид Наумович (никак нельзя было предположить, что такой серьезный, сердитый, молчаливый бирюк может быть увлеченным, эмоциональным рассказчиком) поведал слегка приунывшему гостю о том, как во время войны чудом уцелел театр и что в его спасении принимал участие и лично он, Гершкович Леонид Наумович. Нет, он не хвастался. Он гордился! Затем они оказались на берегу моря, потом проехали по популярной Дербасовской улице... И таксист рассказывал и рассказывал обо всем нежно, с любовью, как любящий отец о своих любимых детях. Это был совершенно не тот водитель, который при первой встрече резко бросил: “До аэропорта не могу. Только до Одессы!” И при этом чуть не уехал, оставив его у дороги. Ничего не понимал Валентин Павлович: ни его желания так горячо поведать о своем красавце-городе, ни его угощения в кафе, ни его готовности посвятить ему свой обеденный перерыв, ни решения помочь с приобретением билета... В голове у Валентина Павловича от всего этого был сплошной сумбур. И он, утомленный, перестал о чем-либо думать. Он просто решил полностью подчиниться воле этого довольно странного человека.

Уставшие, но довольные каждый своей ролью, они после приобретения билета, выехали за город. Оба первое время молчали.

– А жену Клару... – вдруг заговорил Леонид Наумович, – с маленьким сыном Натанчиком ... немцы... здесь... в оккупации расстреляли...

При этих словах он вдруг резко затормозил машину, весь побелел, глаза у него вновь наполнились глубокой тоской. Он смотрел прямо перед собой, крепко схватившись обеими руками за руль. Через минуту он повернулся к Валентину Павловичу и, понимая, что тому стало не по себе от такого сообщения, нарочито громко сказал.

– Ладно, старина, поехали, – и он резво взял с места, и машина помчалась дальше.

Оставшийся отрезок пути оба молчали. Каждый думал о своем. А у аэропорта Леонид Наумович первым вышел из машины, начал ее осматривать. Потом стал протирать тряпкой переднее стекло. Валентин Павлович еще по инерции продолжал сидеть и не мог сдвинуться с места. Он машинально наблюдал за действиями таксиста. Вдруг он поймал себя на мысли, что тот, протирая стекло, напряженно о чем-то думает. “И вовсе ему не надо было стекло протирать – он это уже делал при выезде из Одессы,” – подумал Валентин Павлович. – Значит он сейчас что-то вновь переживает”

Тяжело кряхтя, Валентин Павлович вышел из машины, постоял, понаблюдая за “работой” водителя.

– Запишите мой адрес и телефон! – не глядя на него, протирая руки тряпкой, чуть ли не приказным тоном потребовал Леонид Наумович.

Когда Валентин Павлович записал его координаты и хотел было достать из кармана деньги, Леонид Наумович, заметив это, протянул ему свою морщинистую крепкую руку и уже совсем нежно сказал.

– Ну, прощайте. Приезжайте с супругой ко мне в гости. Буду рад. Встречу как родных, – и скупая мужская слеза обожгла лицо Леонида Наумовича. Он незаметно быстро смахнул ее и, чуть оправившись, добавил с надрывной скорбью и печалью в голосе.

– Я уже лет 10 не бывал в вашем городке, – и вторая слеза обозначилась на его морщинистом лице. После этих слов он как бы сразу обмяк, от прежнего грубого таксиста не осталось и следа. Перед Валентином Павловичем теперь стоял жалкий, одинокий, взрослый мужчина. Он весь съежился, будто ему было очень холодно. Потом схватился за грудь, быстро достал таблетки из кармана, закинул одну в рот, резко открыл дверцу машины, затем остановился и надтреснутым голосом тихо произнес.

– Моя Клара подольчанка была... Перед войной на нашем пляже познакомились. К родственникам приезжала погостить... – сказав все это, он впервые за весь день в упор посмотрел на своего пассажира своими синими глазами и добавил.

– Поклонитесь Подольску – за Клару, за меня. Может, как-нибудь заеду... – и он обнял одной рукой Валентина Павловича, совсем оторпевшего от всего услышанного.

– Прощайте. Если что не так, простите, – и он выжал бледную улыбку. Прибудете в Подольск, позвоните. Добро?

Валентин Павлович кивнул ему и в свою очередь крепко обнял этого человека, за один день ставшего ему близким и дорогим.

Я сидел на лавочке и думал о Валентине Павловиче, уже попрощавшимся со мной – объявили посадку на его рейс. Признаться, я еще долго находился под сильным впечатлением от услышанного – так душевно рассказал мой новый знакомый о своем друге, что и я к нему проникся теплым чувством и глубоким уважением.

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Когда мы впервые увидели его худого, высокого, со слегка наклоненной головой, в кепке, стоявшего у калитки двора с кожаной папкой в левой руке и молча смотрящего в нашу сторону, признаться, были крайне удивлены: стоит, смотрит мимо нас, не открывает калитку, ничего не спрашивает и ничего не говорит...

В Краснодаре стояла прекрасная летняя погода. Весь двор, где мы жили, был в зелени и благоухал. Перед невысоким дощатым забором густо росли небольшие сиреневые деревца. Этот мужчина, на голову выше забора и калитки, невидящим взглядом смотрел то ли в сторону веранды, где на табуретке сидела хояйка дома Тамара Петросовна, то ли в сторону окна нашей с Колей комнатки.

Мы сидели под большой яблоней за грубо сколоченным столом и каждый из нас был занят своим делом: я изучал зарубежную литературу, Коля рисовал, а Виктор рассматривал открытки с видами Краснодара. Мы были студентами-заочниками пединститута.

У Тамары Петросовны мы остановились в первый раз, а до этого жили у разных хозяек. Было Тамаре Петросовне лет под семьдесят. Когда-то, видимо, красивая, статная, была она властной, сварливой, своенравной женщиной. Детей у нее не было. Муж до Советской власти служил каким-то важным чиновником. Каким? Тамара Петросовна об этом почему-то умалчивала.

Из-за жадности к деньгам квартирантов набирала много. Когда возмущалась или кричала на кого-нибудь, казалось, что она при этом совершенно не нервничает. В таких случаях она сильно морщинила лоб и почему-то прищуривала левый глаз. Нам она была очень неприятна, но жить у нее было удобно: во-первых, домик стоял в центре города, во-вторых, наш институт находился рядом, в-третьих, и комнатки, и сам дворик были уютными.

В тот летний день 1962 года, когда мы впервые увидели за калиткой того мужчину, стоявшего в глубокой задумчивости, все трое с удивлением посмотрели на хозяйку дома; мол, что это такое и кто это такой? "Наверняка, – думал каждый из нас, – он приходит сюда не первый раз. Значит хозяйка должна знать причину появления этого человека".

Хозяйка поняла наши вопросительные взгляды и совершенно безразлично и коротко бросила: "Он много лет ходит сюда". Причем, сказала так громко, что мы посмотрели на мужчину, чтобы понять, как он среагирует на реплику Тамары Петросовны. А он, не меняя позы, продолжал невозмутимо стоять и смотреть в одну точку, будто слова хозяйки вовсе не касаются его.

Но на что мы обратили внимание, так это, как Тамара Петросовна, бросив реплику, продолжала веером лениво отгонять от себя мух. Видно было, что ни само появление этого мужчины, ни наше удивление ее не волновали и не интересовали. Между тем, нас разбирало любопытство. Николай, наиболее нетерпеливый из нас, когда человек за калиткой ушел, решил расшевелить хозяйку.

– Тамара Петросовна, так кто же он такой?

– Вот вы любопытные, – хитро одним глазом улыбнулась она, продолжая веером размахивать перед лицом. – Вас хлебом не корми... – проворчала она.

Но через некоторое время, видя, что Николай от нее не отстанет, хоть коротко и сухо, все же рассказала об этом странном человеке.

– Квартировала тут у меня много лет назад одна молодая особа, дама-пианистка, – начала она довольно нехотя и холодно. – Жила в вашей маленькой комнатке, – она посмотрела одним улыбающимся глазом на меня и Николая и при этом ехидно хихикнула. – Работала в музыкальном училище. Преподавала там фортепиано. А этот, – и она кивнула в сторону калитки, – и сейчас, кажется, там работает. В первое время он провожал ее до калитки, а затем она стала заводить его к себе... Раза два я вытерпела. а в третий сказала, что не потерплю, чтобы в мой дом приводили мужчин. – Тут она вновь ехидно улыбнулась одним правым глазом, понимая, что ее слова вызовут у нас неудовольствие, но сразу же, не дожидаясь нашей реакции, бесстрастно продолжила.

– А играла она неплохо. Я разрешала ей иногда поиграть на моем фортепиано. Его уже нет: продала... Но больной эта дама оказалась. Попала в больницу и умерла. А он все продолжает сюда ходить.

Сказав все это, она ухмыльнулась, затем заключила.

– Зайдет во двор, станет, посмотрит в одну точку ничего невидящими глазами, поклонится и уйдет. Так почти каждый год – и зимой, и летом.

Хозяйка давно закончила свой рассказ и сонными, слипающимися глазами продолжала лениво отгонять от себя мух, а мы продолжали сидеть в глубокой задумчивости. Факт появления этого человека у калитки и скудные сведения о нем сильно потрясли нас. Каждый из нас теперь думал о нем, о его странном поведении.

– Вот тебе и странности человеческие, – глубоко вздохнув, произнес Виктор.

– Не знали бы мы эту историю, человек этот продолжал бы удивлять нас, – прошептал я.

– А в какое время он приходит сюда? – резко спросил Николай у хозяйки.

Та вздрогнула, а затем, сладко зевнув, грубо ответила.

– Откуда я знаю.

Чем больше пренебрежения и безразличия улавливали мы в поведении и словах хозяйки, тем большим уважением проникались к этому странному человеку. Признаться, каждый из нас в душе хотел еще и еще раз увидеть его у калитки. Мы трое все прониклись к нему не только чувством уважения, но и сострадания. Так страстно пронести через много лет любовь к женщине – это было восхитительно! Факт этот в чем-то вдохновлял, делал нас духовно богаче. И где-то в душе мы были благодарны этому человеку за его преданность, за его память.

На другой день после занятий в институте мы, по обыкновению, сидели во дворе под яблоней – готовились к очередным экзаменам. Хозяйка же, как всегда, расположилась на своем постоянном месте на веранде, облокотившись на перила и подперев подбородок руками.

– Во, опять появился этот ваш... – вдруг неожиданно резко и громко выкрикнула хозяйка, ехидно хихикнув и улынувшись одним правым глазом.

Этот ее выкрик неприятно резанул нам слух. А человек стоял за калиткой в своей обычной позе. Через отверстие, куда мы обычно просовывали руку, чтобы открыть калитку, видно было, что в правой руке он держит букет сирени. Казалось, человек пришел на свидание к своей любимой: вот сейчас она выйдет, и он, мило улынувшись своими бледно-голубыми глазами, протянет ей этот букетик. Тяжело было такое представлять...

– Какой-то ненормальный... – вновь заскулила Тамара Петросовна.

Ее голос, который теперь страшно раздражал, вывел нас из оцепенения.

– Давно бы женился... – возмущалась хозяйка, поджав губы и сделав вопросительную мину на морщинистом лице, при этом посмотрев на нас одним правым глазом.

Мы не отвечали ей: не хотелось, чтобы кто-нибудь нарушал ход наших мыслей.

– Такая худая... и неинтересная из себя дамочка была... Чего он влюбился в нее? – вновь забубнила хозяйка с искусственной улыбкой на лице.

На сей раз слова сварливой хозяйки прозвучали для нас кощунственно.

– Вот гадюка, – прошипел Николай, побледнев. – Это ж надо. Вот стерва!

Хозяйка, услышав шепот, резко повернула голову в нашу сторону и, эдак ехидно, улыбаясь одним глазом, спросила:

– Чего это вы там шепчетесь?

Никто ей не ответил.

Между тем, странный человек поклонился, потом выпрямился, положил букет на забор и ушел.

Какое-то тревожное чувство охватило нас. На мгновение нам показалось, что живем мы у памятника этой женщине, его любимой, к подножию которого этот человек возложил цветы...

Николай, бледный и злой, ворчал себе под нос. Он явно нервничал. До нас с Виктором то и дело доносились обрывки его проклятий, которые он посылал в адрес нашей хозяйки. Затем, не выдержав, он выдал из себя злую улыбку и обратился к хозяйке.

– Тамара Петровна, у вас отличные подписные издания классиков русской литературы. Вы что-нибудь из них читали?

– Чего ж не читала! Когда время бывало, читала..., – собрав морщины на лбу, бросила она.

Николай, решив вывести старуху из себя, продолжал задавать ей нелепые вопросы.

– Кого же вы читали, если не секрет? – не отставал он.

– Чего ты мне допрос устраиваешь? – взбунтовалась хозяйка. – Ты лучше к своим экзаменам готовься, и она постаралась улыбнуться и, слегка хихикнув, заключила. – А то двоек вон нахватаешь...

И сразу улыбка сошла с ее лица. Она собрала морщины на лбу, затем вновь их распустила в ожидании очередного колкого вопроса.

– Вы раньше на квартиру брали только девушек, что ж теперь только мужчин пускаете? – не унимался Николай. – Они что вам больше платят?

– Вы мне хулиганских вопросов не задавайте, – вскричала хозяйка, – а то я вас живо отсюда повыгоняю... Я хулиганов держать в своем доме не намерена...

Мы успокоили Николая и уговорили его пойти попить с нами пива. Пиво Николай очень любил.

Мы стояли за стойкой в летнем павильоне и пили вкусное краснодарское пиво. Николай за беседой разносил в пух и в прах нашу толстокожую хозяйку. О том “странном” человеке никто вслух не говорил.

– Помнишь, что старуха рассказывала нам при первой встрече? – обратился Виктор ко мне.

– Насчет чего? – загорелся Николай.

– Почему перестала брать девушек на квартиру, – пояснил Виктор.

Да, мы помнили это.

Прежде весь двор со всеми строениями принадлежал мужу нашей хозяйки. Вторую половину дома Тамара Петросовна после смерти мужа продала. Будучи желчной и неуравновешанной женщиной, она буквально через несколько дней после продажи половины дома поругалась с новой хозяйкой. Кто-то из квартиранток соседки чем-то не угодила старорежимной старухе. Когда вышла соседка, Анфиса Прокофьевна, Тамара Петросовна с раздражением властной женщины накинулась и на нее. И началась вражда между двумя соседками... С тех пор и решила Тамара Петросовна брать к себе только мужчин. А объясняла эту причину она нам так: “Все женщины – дряни. От них всякой гадости жди. Это они, они соблазняют и заманивают мужчин... Ненавижу их!”

Нам она категорически запрещала даже на пять минут приглашать в гости своих однокурсниц, приговаривая: “Нечего приводить...”

Однажды Николай, решив насолить хозяйке, все же пригласил свою однокурсницу войти во двор. Мы с Виктором сидели за столиком под деревом, а хозяйка, по обыкновению, на веранде. Когда Николай с гостьей вошли во двор, лицо у хозяйки резко изменилось. Она посмотрела на них одним правым глазом. Когда они присели к нам под дерево, хозяйка что-то невнятно пробормотала, но вслух воздержалась что-либо сказать. Лишь изредка, то распрямляя морщины на лбу, то собирая их в складку, бросала в нашу сторону колкие взгляды. Посидев с часу, мы все вместе решили выйти прогуляться. Не дошли еще до калитки, как услышали: “Нечего приводить... Какие женщины пошли... Без стеснений ходят к мужчинам... А еще, наверное, замужем...”

Это было только начало, а продолжения надо было ждать по возвращении. Лицо однокурсницы Николая покрылось красной краской. Страшно неловко почувствовали себя и мы. А Николай после некоторого замешательства стал оживленно объяснять гостье, какие у нашей хозяйки нравы...

Мы хотели уйти от сварливой и несносной старухи, но нас остановил Виктор: “Не надо, ребята. Как-никак здесь близко от института, центр города, парк недалеко, да и комнатки у нее неплохие...”

Потом, конечно, мы ни одну знакомую не приглашали. Но задумали другое. Хозяйка не разрешала нам не только здороваться, но и разговаривать с квартирантками соседки Анфисы Прокофьевны. А теперь

мы решили с ними не только активно здороваться, но и беседовать. Когда однажды одна из девушек вошла во двор, Николай попросил ее посмотреть, нет ли в почтовом ящике для нас писем. Та охотно проверила и ответила.

– Нечего задевать чужих женщин, – закричала хозяйка, сидевшая тут же на веранде. Помолчала, наблюдая за нами, не продолжим ли мы с девушкой разговора, и выкрикнула: “А они и готовы шашни заводить...”

Мы уже не злились. Нас теперь просто разбирал смех. Николай в таких случаях смеялся громче всех. Тогда хозяйка, окинув нас недобрый взглядом, сверля каждого из нас одним открытым глазом, спрашивала: “Чего гогочете?”

Мы надумали вести необъявленную войну против жестокости, косности, мещанства. В первый же раз после нашего решения мы поздоровались почти со всеми из девушек и с самой Анфисой Прокофьевной. Сначала девушки-соседки недоумевали, как это, мол, мы решились с ними здороваться в присутствии хозяйки. А когда мы перешли всякие границы “дозволенного” – пошли к ним побеседовать, то их удивлению не было предела. А на следующий день мы уже помогали им вскапывать грядки на половине сада соседки.

– Лучше помогли бы очистить землю от сорняков под своими окнами, – зло и грубо проворчала старуха, когда мы вернулись к своему столу под деревом.

Станный человек, как мы выяснили, появлялся не каждый день, а только тогда, видимо, когда у него бывали по расписанию занятия в музыкальном училище. Не знаем почему, но мы его ждали теперь чуть ли не каждый день. Лишь однажды, когда мы с Николаем и с Виктором, усоветившись, очищали землю возле забора от сорняков, близко увидели странного человека, стоявшего у калитки. Заметили мы и то, что он никого не смущается. Просто нам казалось, что он вообще никого не видит и что в этот момент он весь уходит в себя. Мы молча наблюдали за ним. На вид ему было лет 40-45. Довольно худое лицо его было бледным. Был он роста выше среднего, несколько узкоплечий. Лоб был большим, а глаза казались бледно-голубыми. Весь вид его и сама история, связанная с памятью о его любимой, вызывали у нас сострадание к нему, как к человеку, пережившему личную драму. Нас, правда, несколько смущало такое его поведение, а потому и появилось желание побольше узнать о нем.

... Музыкальное училище находилось недалеко от нашего дома: три кварталчика. Мы часто проходили мимо него. И вскоре нам удалось познакомиться с одной преподавательницей из училища.

– Добрый день, – обратился более шустрый из нас Николай к женщине, беседовавшей со студентами. – Извините, пожалуйста, – продолжал Николай с милой улыбкой на лице, – могли бы мы вас подождать. Нам нужно с вами поговорить.

– Хорошо, – в некотором недоумении согласилась она.

И состоялся довольно интересный разговор. Сначала мы объяснили ей, что живем у старой армянки и что мы иногда у калитки дома видим мужчину, странное поведение которого шокирует нас. Мы признались, что очень хотели бы знать, что это за человек. И вот что поведала нам Наталья Павловна (так звали эту женщину).

– Человек как человек, – начала Наталья Павловна, – в меру строг, в меру добр, отлично знает своей предмет. Ну, а то, что он не женат до сих пор, наверное, вы понимаете... Лариса Николаевна Мирошниченко была очень обаятельной молодой женщиной. Он нее веяло душевным теплом. Даже самые вредные, злые люди (а мир, к сожалению, не без таких) в общении с ней делались мягкими, податливыми. А такой человек, как Аркадий Натанович Менделев не мог не оценить замечательных качеств Ларисы Николаевны. Она как бы открывала ему окно в мир сказочных видений, в мир чудес. Они оба были какими-то неземными что ли, ну, словом, романтиками, несколько оторванными от земли...

Наталья Павловна на минуту задумалась и затем продолжила.

– Они вроде бы дополняли друг друга... По-моему, они даже и не успели объясниться в любви. Мне кажется, что каждый из них создавал, как они дороги и нужны друг другу. Помнится, Лариса Николаевна во время каникул уехала в Сибирь проводить мать. Видели бы вы, как страдал этот человек все эти дни! Он заметно сдал, стал немногословным, похудел, глаза поблекли... Чувствовалось, что Лариса Николаевна стала для него воздухом. Она уехала – и ему уже нечем было дышать... Тогда, кажется, им было так: ему 30, ей 27. Да, да так и было... Боже мой, сколько времени прошло... Да-а-а... А он все живет памятью о ней! Что ж, так создан человек...

Наталья Павловна оборвала свой рассказ, вздохнула и внимательно посмотрела на нас. Мы слушали ее молча и с благодарностью смотрели на эту милую и добрую женщину. Неожиданно мы пришли к мысли, что и сама Наталья Павловна открылась нам как человек богатой, щедрой души...

– А вы, наверное, удивлялись его появлению у вашей калитки, да? – прервала наши мысли Наталья Павловна. – Да, Лариса Николаевна прожила в том доме больше двух лет. Я бывала у нее. Хозяйка там такая... Приятная личность. Ларисе Николаевне просто близко было от работы. а то она давно хотела уйти от нее. Да и ушла бы, но вот... Долго она пролежала в больнице. Аркадий Натанович все свое свободное время просижи-

вал у нее в палате. О чем они говорили? Кто знает? А когда он появлялся на работе с усталым, изможденным видом, мы думали, что вместе с Ларисой Николаевной прямо на глазах тает и сам Аркадий Натанович. Рак был у нее... Быть может, слишком сентиментально все это, но кто знает... Вы замечали, какими неживыми, безучастными порой кажутся его глаза? Замечали? Вы думаете, так ли уж они бесстрастны? О, не-ет! Он, наверное, в тот момент отчетливо видит ее перед собой, быть может, тающую на глазах, или цветущую, милую и обаятельную еще до болезни. Он живет этим. Таких людей, как Аркадий Натанович, по пальцам можно пересчитать. В народе их называют чудаковатыми, людьми со странностями. Что ж, доля правды в этом, конечно есть... Все мы со своими странностями. Только у каждого свои. А если бы вы послушали как он играет на скрипке! Скрипка в его руках рыдает...

Прошло несколько дней. Однажды мы случайно увидели Аркадия Натановича в окружении нескольких юношей и девушек. Шли они в сторону нашего дома. Мы остановились на противоположной стороне улицы. На углу ребята вручили ему два небольших букетика цветов. Он чуть поклонился им и слегка, одними лишь губами, улыбнулся и, немного наклонив голову, отправился к нашей калитке. Шагал он размашисто, глядя прямо перед собой. У калитки от остановился. Через минуту он открыл ее и вошел во двор. Видимо, он заметил наше отсутствие... А хозяйка его не смущала. Постояв дольше обычного, он поклонился и ушел. Цветов в руках у него уже не было.

— Значит, мы ему мешали войти во двор, — сделал вывод Виктор.

— Да, ребята, теперь нам ясно все. Давайте, когда он в следующий раз придет, убираться сразу куда-нибудь, — внес предложение Николай.

С тех пор при появлении Аркадия Натановича мы исчезали. Причем, делали это незаметно. Он входил во двор и стоял, заняв свою обычную позу: смотрел на окно нашей с Николаем комнатки, немного наклонив голову.

Хозяйка дома никак не могла понять, почему это мы вдруг при появлении странного человека стали исчезать. Для нее этот факт так и остался загадкой. “Что это вы стали убегать при появлении этого?” — вопрошала она, кивая головой в сторону калитки. Мы не отвечали ей.

Сессия закончилась. И если мы прежде думали в следующий приезд остановиться в другом месте, то теперь, несмотря на то, что хозяйка дома была нам неприятна, мы все же твердо решили приезжать именно в этот дом!

НЕПРИСТУПНАЯ

Более трех десятков лет назад мой приятель и земляк из Дагестана Мугдаши Ханукаев рассказал мне о своей любовной драме, произошедшей с ним в Краснодаре. Признаться, тогда по молодости лет я воспринял его рассказ как обычную любовную историю, которая часто приключалась с молодыми людьми. Но по прошествии времени все услышанное тогда я переосмыслил лишь недавно, когда вспомнил о своем приятеле.

Вот что в те далекие годы поведал мне Мугдаши.

Шел 1963-й год. В Краснодаре стояло чудесное лето. Город цвел и благоухал. Я только что сдал последний государственный экзамен и получил диплом учителя. Наша группа устраивала вечером прощальный ужин. Заказали 25 мест в летнем кафе “Юность”, что в парке имени Горького. Староста группы поручил мне сопроводить на вечер председателя экзаменационной комиссии Марка Соломоновича Горенштейна, который остановился в институтском коттедже, что на берегу городского Затона.

До парка мы с Марком Соломоновичем минут пятнадцать шли пешком. Разговорились.

– Закончил институт и, наверное, настроение на подъеме? Да? – Марк Соломонович с хитроватой улыбкой заглянул мне в глаза.

– Как ни странно, но настроение не ахти, – с какой-то грустью в голосе ответил я.

– Мугдаши, ты меня удивляешь. Ты должен радоваться, а ты грустишь?! Непонятно, – и он продолжал в упор смотреть на меня.

– У меня такое ощущение, что будто я что-то потерял, что мне будет чего-то не хватать, – рассуждал я.

Марк Соломонович вдруг остановился, хлопнул меня по плечу и громко с той же хитрой улыбкой на лице заявил:

– Да ты, друг мой, молодец! Обычно выпускники безмерно радуются тому, что избавились от экзаменов, что диплом уже в кармане. А у тебя наоборот, – и он, сказав все это, вновь остановился, замолчал, подумал и уже совсем серьезно продолжил:

– Вот что я тебе скажу, друг мой. Тебе надо учиться дальше! – твердо произнес он и вновь заглянул мне в глаза в ожидании реакции на свои слова.

– Как еще учиться? – недоумевал я.

– Очень просто, друг мой, очень просто. Надо готовиться в аспирантуру, – и он при этом еще раз хлопнул меня по плечу. – В аспирантуру! Потому что тебе не хватает дальнейшей учебы.

– Как? – продолжал я удивляться. – Да и учился-то я, признаться, не особенно, – постарался было я отмахнуться от непонятной мне идеи.

– Ты вот что, друг мой, – не обращая внимания на мою воркотню, произнес он твердо, – давай-ка мне свой домашний адрес, а потом разберемся.

Он достал записную книжку, ручку, записал мои координаты, затем аккуратно вернул все это по местам и, не глядя на меня, добавил:

– Так, – деловито заявил он, будто совершил удачную сделку, – жди от меня письма. Из него ты все поймешь. На конверте будет мой обратный адрес. Буду ждать от тебя ответа. Договорились? – и не дав мне что-либо сказать, он взял меня под руку, и мы зашагали дальше.

В кафе я пробыл недолго. Как только Марк Соломонович, сославшись на завтрашний отъезд домой, собрался уходить, я тоже встал вслед за ним. Тепло попрощался со всеми своими однокурсниками за руку и вышел. Догоняя Марка Соломоновича, я поймал себя на мысли, что весь вечер я находился под впечатлением его заманчивого предложения. Я провел его до коттеджа и уже у своих дверей он вдруг обнял меня, пожелал успехов и потребовал ответить на свое письмо.

По дороге домой я с улыбкой вспомнил, как Марк Соломонович, продолжая разговор об аспирантуре, весело от души хохотал:

– Вот здорово! За много лет своей педагогической деятельности впервые встречаю студента, да еще заочника, который говорит, что ему не будет хватать учебы после окончания вуза!

Когда я вернулся домой, мои друзья Коля Неупокоев и Виктор Бондаренко сидели во дворе на нашем обычном месте за грубо сколоченным столом под большой яблоней.

– Ты чего так рано? Мы думали, что ты притащишься аж к 12 ночи, – приветствовал меня Николай.

– Что-нибудь случилось? – с беспокойством в голосе спросил Виктор. – Вид у тебя какой-то странный. Вроде радоваться должен, а ты вон какой грустный.

– Как отметили? – спросил Николай, ехидно улыбаясь.

– Они еще там остались, это я раньше всех ушел, – грустно ответил я.

– Да, но почему у тебя нет настроения? – приставал Виктор.

И я рассказал им о своем разговоре с председателем госкомиссии.

– Ну и хорошо! Ну и ладно! Ну и отлично! – сразу приободрился Виктор.

– Чудесно, Мугдаши! Чудесно, Ханукаев! – и Николай, как и Марк Соломонович, весело хлопнул меня по плечу.

Все мы трое были студентами-заочниками пединститута: я учился на историческом, Николай и Виктор – на художественно-графическом факультетах. Мне было 27, а им по 32 года.

– Ну, сто граммов хотя бы там выпил? – решил расшевелить меня Николай. – А то мы тут с Витей бутылочку приобрели – надо же твой диплом обмыть.

Тут же с помощью Виктора на столе появились бутылка водки, вяленая вобла, хлеб, соленые огурцы и три стопочки.

Выпили. Закурили.

– Кстати, – решив поднять у меня настроение, заговорил Виктор. – Мы с Колей все забываем тебе сказать, что в прошлом году в нашей группе появились двое новеньких. Из Таганрогского пединститута перевелись.

– Ну и что? – спросил я без особого интереса.

– Эти двое – одна особа и один мужик, – стал объяснять Коля. – Но особа, скажу тебе, – настоящая красавица!

– Не то слово, – хотел было перебить его Виктор.

– Нет, нет, ты погоди. Я сам, – прикрикнул на него Коля, не дав тому и рта раскрыть.

Я же тем временем ехидно улыбнулся и решил их подколоть.

– Ой-ой, прямо такое событие у вас там, что сильно заинтриговали меня! – засмеялся я над их усилением.

– Погоди, погоди. Ты зря смеешься, – горячился Коля. – Самое оригинальное заключается в том, – продолжал он, – что эта дама действительно очень красива. И самое удивительное, что она неприступная. Кто только из нашей руппы, да что группа, и из других факультетов на Красной улице ни старался “подъехать” к ней?! Со всеми вежливо, степенно, подчеркнуто строга.

– А может, она из-за того, с кем перевелась, не желает ни с кем сблизиться? – рассудил я вслух.

– Не-е-ет, – протянул Николай. – В том-то и дело, что он ей никто. Просто непри-и-ступная – и все!

– И сколько же ей лет? – поинтересовался я.

– Ну, где-то 26-27, – включился наконец в разговор Виктор, так жаждущий сам со смаком рассказать обо всем этом.

Но Николай, как сел на своего конька, так теперь и не слезил с него.

– Но должен признаться, Мугдаши, – красавица! Неопиcуемая! Как художник говорю – это настоящее произведение искусства! Веришь? – темпераментно продолжал Николай.

– Вы хоть покажите мне ее, – робко попросил я их.

– А-а, подпусти тебя, ловеласа. Ты же опасный обольститель, – шутиливо выкрикнул Николай.

Затем спокойно добавил.

– Ладно. Давай завтра с утра пойдем на почту, а оттуда на наш факкультет, – предложил Николай.

– Очей очарованье, говорите? – в задумчивости произнес я.

– Не то слово, не то слово! – подтвердил Виктор. – И умная, и фигура – блеск, и ноги... Давно я не видел таких женщин! – продолжал он восторгаться.

– Представляешь? Стоит кому-нибудь разговор с ней повернуть в “любовное” русло – ни-ни. Стро-о-га! – не то удивлялся, не то восхищался Николай.

Мы еще некоторое время посидели, затем решили пойти спать.

– Утро вечера мудренее, – заключил я и хлопнул своих старших друзей по плечам.

Утром мы уже были на почте. Коля и Витя получали денежные переводы из дому. Они пошли заполнять бланки, а я стал у окна. Вдруг к Вите подошел молодой человек, поздоровался за руку, что-то спросил и отошел к окошку. Виктор посмотрел ему вслед, потом на дверь и неожиданно подбежал ко мне и с волнением полупшепотом произнес:

– Вот она! В дверях. – Виктор от волнения даже побледнел.

Он вернулся к столу, где сидел Николай, и стал заполнять свой бланк. А я тем временем стал рассматривать эту молодую женщину... Вдруг я сделал несколько шагов в ее сторону и тихо с улыбкой спросил:

– Вы тоже ждете?

Она сначала удивленно и строго посмотрела на меня, затем с легкой улыбкой и довольно дружелюбно кивнула.

– Могу ли я с Вами познакомиться? – я произнес это так спокойно, непринужденно, без особого рвения, что она при этих словах еще раз выразительно заглянула мне в глаза и, не отвечая на мой вопрос, игриво произнесла:

– Вы знаете, а у вас очень умные и добрые глаза!

– Спа-си-бо, – не зная, как понимать ее комплимент, протянул я с некоторым удивлением.

– Тогда вечером в 18.00 я жду вас на этом же месте. Договорились? – решительно, смело и без напряжения предложил я, видя, как “телохранитель” направляется к ней.

Она не ответила на мое предложение, но, уходя, кивнула мне головой. Но что означал этот кивок, я не знал.

Пока я соображал, “телохранитель”, взяв ее за руку, быстро вывел на улицу. Явно, подумал я, ему не понравилось, что она разговаривала с незнакомым человеком. Когда я вспомнил о своих друзьях, они уже подходили ко мне и смотрели на меня с широко раскрытыми глазами.

– Ты что, разговаривал с ней? – все еще не придя в себя, спросил Николай. Потом, повернувшись к Виктору всем корпусом, подчеркнуто иронически воскликнул:

– Я ж говорил тебе, что этот донжуан покорит ее! Говорил? – приставал он к оторопевшему Виктору. – Ну и ловелас, ну обольститель, – повторял, смеясь, Николай.

– О чем ты с ней? – наконец заговорил Виктор.

– Свидание назначил, – преспокойно и эдак небрежно промолвил я с улыбкой.

Они стояли оцепеневшие и не могли переварить информацию, которую я им сообщил.

– Ты что, серьезно, Мугдаши? – уже на улице спросил Николай.

– Не верите? Тогда так. К шести вечера вы станьте на противоположной стороне почты, – самоуверенно заявил я, – и вы будете свидетелями...

Признаться, в душе я сомневался, что она заявится – ведь она не дала ответа, согласия. Но внутренний голос подсказывал мне, что я пришелся ей по душе. И все же...

Вскоре мы стояли у пивного ларька, что недалеко от дома, где жили, и, не торопясь, попивали свежее разливное краснодарское пиво.

– Ну как? Хороша? – убирая с губ пену, спросил Николай, уверенный в том, что он был прав.

– Обаятельная! Она не столько красива, сколько обворожительна, привлекательна. – рассеянно подтвердил я.

Я поймал себя на мысли, что все время думаю о ней. Я даже не замечал, что в задумчивости произносил вслух: “Но что делает возле нее этот парень?” Затем, очнувшись от своих мыслей, я спросил.

– Ребята, а замужем ли она?

– В том-то и дело, что да. Муж у нее капитан первого ранга и часто и надолго уходит в море. А этот как бы приставлен к ней, так сказать, что-

бы никто не приставал к ней. Поэтому мы его называем телохранителем, – подробно объяснил Виктор.

– Не доверяет ей что ли? – недоумевал я.

– Может, и так, – неуверенно ответил Виктор.

– А мне кажется, – вмешался Николай, что все-таки ему поручено защищать ее от хулиганов.

– Может быть, может быть, – взвесив все за и против, задумчиво промолвил я.

– Мугдаши, как ты думаешь, придет она? – уже более серьезно спросил Николай.

Вместо ответа я пожал плечами.

Все мы трое и верили, и не верили, что Лида (так звали ее) придет. “А если придет, то что это будет означать?” – рассуждал я про себя. “А куда она денет этого телохранителя?” – думал я.

К почте мы пришли на 15 минут раньше. Я вошел в помещение почты и стал у того самого окна. Я не волновался. Почему-то мне было даже безразлично, придет она или нет. Я понимал, что затеял эту игру только ради спортивного интереса.

Все это так, но когда в дверях почты появилась она, меня обуял страх. Молниеносно возник вопрос: а что дальше? Она медленной походкой направилась ко мне со смущенной улыбкой на бледном лице. Признаться, я немного растерялся от неожиданности. Не успел я прийти в себя, как услышал ее нежный, ласкающий голос.

– Представьте себе, я пришла. Даже не знаю, как это объяснить. Меня потянуло к вам. Почему? Пока не знаю ответа.

– Может, мои умные и добрые глаза? – пошутил я, напомнив ей ее же слова.

– Вы угадали, – с непонятной тревогой в голосе произнесла она.

– А где ваш друг? – не без иронии спросил я.

– О, вам и про него уже рассказали? – слегка улыбнувшись, удивилась она. – Ну об этом как-нибудь... И куда мы с вами двинемся? Чем займемся?

– А ничего не будем делать. Просто посидим на лавочке в скверике и мило побеседуем, – уже гораздо спокойнее ответил я.

Про своих друзей я вообще забыл – не до них было. Весь вечер мы сидели в скверике, что в центре Краснодара на Красной улице, и тихо-тихо говорили обо всем: о ее муже, телохранителе, о моей семье, об учебе, о своих родных городах...

В какой-то момент, когда она рассказывала о том, как родители уговорили ее выйти за Василия замуж без любви, она вдруг всплакнула.

Тогда я притянул ее к себе и, целуя в глаза, щеки, стал ее успокаивать. Она благодарно молчала.

Потом мы некоторое время, обнявшись, сидели молча – каждый думал о своем. Затем вдруг она обхватила меня крепко, поцеловала нежно в глаза, прижалась щекой к моей щеке и тихо-тихо, нежно-нежно сказала:

– Какой ты милый, Мугдаши! И красивый, и добрый, и умный, и искренний... – говоря все это, она целовала меня в губы, щеки.

Меня сверлили всякие мысли: то казалось, что я то ли сильно понравился ей, то ли она истосковалась по мужской ласке, то ли она вообще позволяет себе целоваться с понравившимися мужчинами...

– В институте, наверное, многие увиваются за тобой? – с улыбкой спросил я.

Она утвердительно кивнула головой, продолжая держать меня в объятиях.

– А этого Дмитрия ко мне приставил муж. Он тоже художник. Дмитрий сильно ревнует меня. Но вовсе не потому, что я подала ему повод. Нет, честное слово. Ни разу за пять лет нашей совместной жизни я ему не изменила. Только вот сегодня... с тобой, – сказав все это, она вновь стала целовать меня.

Только сейчас я обратил внимание на то, как мы незаметно и бесцеремонно перешли на “ты”. Создавалось впечатление, что мы много лет знакомы и только сегодня случайно встретились.

– Знаешь, что я сказала своему телохранителю? – прервала она мои мысли. – Что я самостоятельная, серьезная женщина и что буду делать, что мне надо! Он сначала оторопел, потом сник, а в конце заявил, что сообщит Василию о моей встрече с тобой. “Ну и сообщай! – твердо и резко бросила я. – Надоело мне все это!”

И она вновь всплакнула.

– Кроме того, что без любви вышла за него замуж, да еще по полгода его дома не бывает. Я не эгоистка. Нет. Признаться, поначалу по молодости лет, по наивности я где-то увлеклась его капитанской формой. Да и родители хороши: уговорили выйти за него. Их понять можно было: они видели, как всякие мужчины не давали мне прохода, пристают – боялись за меня: уж больно красивой я на свет народилась. Поверь, Мугдаши, я не из ложной гордости об этом говорю... Я порой сожалею об этом... Мне нужен... тот, который магнитом притянул бы меня к себе, понимаешь? – она рассуждала, не глядя на меня и роняла слезы.

Вдруг она как-то сразу переменилась: то плакала, то вдруг засмеялась.

– Представляешь, если бы этот Дмитрий сегодня не зашел на почту, то мы бы никогда с тобой не встретились. Представляешь? Надо ж – на почте... – она смеялась как ребенок, который вдруг нашел свою любимую игрушку!

Вместо ответа я привлек ее к себе, крепко обнял и стал страстно целовать в губы, щеки, шею. Постепенно кровь ударила мне в голову и я полез к ней под платье и стал гладить ее тело.

– Мугдаши, милый, тут не место. Потерпи, пожалуйста. И знай: я уже твоя навсегда! Я сегодня душу свою тебе отдала. А это больше, чем отдать тело!

Вдруг на какой-то лавочке включили транзистор, и полилась чудесная мелодия.

– Танго! – обрадованно воскликнул я. – Какая прелесть! Танго – мой любимый танец, – радовался я как мальчишка. – Может, потанцуем? – предложил я Лиде. – Ты знаешь, душа поет у меня!

– Ты что, Мугдаши. Что люди о нас подумают? – с улыбкой ответила Лида. – Я бы с удовольствием, но...

– Наше место темное – кроны деревьев заслоняют свет от светильников на столбах. Так что никто нас не узнает, – настаивал я. – Давай, Лид, ну, иди ко мне, – я встал и протянул ей руки.

И она вошла в мои объятия. Не знаю, случилось ли такое с другими, но то, что я почувствовал от соприкосновения с ней, никогда не забуду! Мы так прижались друг к другу, что меня током пробило от близости ее женских прелестей. Я проводил руками по ее бедрам, талии, груди, а тем временем губы мои неотрывно целовали ее губы, шею, глаза, груди. “Усложняло” положение и то, что она в порыве страсти шептала: “Я вся твоя, слышишь? Не думала, не гадала я, что любовь может прийти с первого взгляда! Нет, от других о таком я слышала, но чтобы такое случилось со мной?!”

Она говорила тихо, с закрытыми глазами, со стороны можно было подумать, что она пьяна. Честно говоря, и я находился в состоянии опьянения. Я не ведал, что творил: моя рука блуждала у нее под платьем...

Мы теряли разум, мы готовы были заняться любовью тут же в скверике – мы входили в экстаз. Мы ничего не видели вокруг – мы слышали только звуки чудной музыки, биение собственных сердец и находились под властью своей страсти... Мы настолько стали родными, близкими, что ощущали себя как единое целое. Мы наслаждались друг другом. И казалось, что этому наслаждению не будет конца...

И все же больше сил оказалось у нее: сначала она остановилась, затем нежно убрала мою руку из-под платья.

– Мугдаши, мой милый, родной ты мой, – заговорила она все так же тихо и ласково, – мы сходим с ума. Не надо друг друга мучать, видишь, я вся дрожу. Тут вокруг народ. Давай сядем, успокоимся, – и она потянула меня, обезумевшего, к лавочке.

Когда мы уселись, вдруг она весело засмеялась, приговаривая:

– Ты посмотри, посмотри. И другие танцуют по нашему примеру.

Она говорила, смеялась, восхищалась. А я тем временем продолжал желать ее... и ничего и никого вокруг не замечал. Я не мог укротить свой пыл.

Она старалась привести меня в чувство: целовала в глаза, губы, брала за руки, которые опять полезли к ней под платье. И все приговаривала: “Ну, успокойся, мой родной! Ты же сильный парень!”

Немного поостыв, я подумал над тем, как уверенно Лида привела меня в чувство. Усадив меня на лавочку, она вновь повторяла: “Я тебе всю душу отдаю. А это больше, чем отдать тело!” И она была права.

Успокоившись, что я немного отошел, она, тяжело вздохнув, тихо и с грустью спросила:

– Ты когда домой уезжаешь?

– Завтра, – так же тихо ответил я.

Она положила голову мне на плечо. Помолчала. Затем с неизбывной тоской в голосе промолвила.

– А мне так хорошо с тобой, так хорошо! На душе так уютно, так спокойно, будто я нашла то, что много лет искала. И вдруг нашла и безмерно обрадовалась! Ты меня слышишь? – убедившись, что да, слышу, продолжила. – Нашла, а завтра потеряю. Когда же мы теперь увидимся?

Видя, что я молчу, подняла голову с плеча, заглянула мне в глаза и повторила.

– Когда?

Потом как-то спокойно, почти отрешенно попросила.

– Запиши, пожалуйста, мой адрес. И мамин тоже.

Когда я выполнил ее просьбу, она как-то резко спросила:

– Ты ко мне приедешь?

Я молчал.

Лида была настолько хороша собой, настолько умна и обаятельна, что при мысли о том, что я больше никогда не смогу ее увидеть, обнять, обласкать, признаться, мне становилось не по себе. В таком мрачном состоянии духа я вместо ответа в задумчивости стал рассуждать:

– Приеду ли я к тебе? Как бы я этого хотел. Но я женат, а ты замужем. Допустим, приеду. Тогда сильнее и крепче полюбим друг друга. Затем расстанемся – я уеду. Ты останешься. В интервалах мы займемся ак-

тивной любовной перепиской. Начнутся душевные муки, страдания. И мы будем жждать новых встреч, новых ласок, новых занятий любовью. Ты понимаешь? А что потом? Однажды или ты, или я скажем: “Я больше не могу так. Я хочу тебя видеть каждый день! Быть рядом с тобой – счастье! Ты мне нужен как воздух! Давай разведемся и сойдемся друг с другом. И сольемся – и телом, и душой! Вот что произойдет в дальнейшем, милая. Готовы ли мы к этому?”

Теперь она не отвечала. Она плакала. Может быть, в душе она и была согласна с моими доводами, а быть может, она хотела выкрикнуть: “Так если мы крепко полюбим друг друга, если мы поймем, что не можем друг без друга, то почему бы и не сойтись, бросив все к чертовой матери!”

Но она ничего этого не сказала. Она продолжала молча, беззвучно плакать.

Лишь когда она немного успокоилась, я провел ее до дома. Договорились встретиться утром у почты. Она сказала, что завтра не пойдет на занятия и этот день посвятит мне.

... – Вот и появился – не запылится, – проворчал Николай, заведя меня у калитки.

– Мы тут чего только не передумали, переживая за тебя, – заботливо заметил Виктор.

Ворчать-то поворчали, а все-таки с нетерпением ждали моего рассказа. Конечно, они видели, как мы с Лидой вышли из почты и проследовали в сторону скверика.

Я присел рядом с ними под яблоней и не знал, с чего начать. “Ведь не поверят,” – сомневался я, собираясь “отчитаться” перед ними.

Поначалу они разыгрывали меня, подшучивали надо мной.

– Ну, Мугдаши, ну, везучий же ты! Неужто она втрескалась в тебя?! Ну, ты даешь! – восторгался по-своему Николай.

– Целовались? – поинтересовался Виктор.

– И целовались всю ночь, и плакали, и смеялись, и танцевали, и – все было за один вечер, – с грустью ответил я.

Они ушам своим не верили – настолько были уверены в ее неприступности, строгости, что никак не могли понять, как такая женщина позволила себе расслабиться.

Не сознавали мои старшие друзья, что когда встречаются две родственные души, да к тому же романтики, мечтатели, то и рождается любовь.

Я все же рассказал им в подробностях о своей встрече с Лидой. Несмотря на серьезность моего повествования, они никак не могли уяснить, как так можно: случайно встретились, случайно познакомились, она сразу бросилась в объятия, по сути дела, незнакомого человека...

Конечно, их понять можно было.

– Убей меня, – горячо, с некоторым возмущением рассуждал Коля, – не согласен, что такое возможно. Выходит, она просто шалава, строившая из себя строгую, неприступную... Ты же завтра уезжаешь. И как она среагировала на это? – не унимался он.

– Она завтра пропускает занятия – хочет побыть со мной до отъезда. Она и на вокзал придет, – постарался я ответить как можно спокойнее.

– Ну и ну! – продолжал удивляться Николай? – А все же красавица! Хороша!

– А какая у нее душа! – выразил я свое восхищение.

– Нет, я прагматик, а потому ты мне скажи, Мугдаши, что дальше? Каков конец? – горячился Николай. – Ты говоришь, что она завтра придет на вокзал провожать тебя?! Не верю! – заявил он решительно. – Если придет, то она порядочная женщина – и я возьму свои слова назад, – несколько смягчился он.

Все это время Виктор молчал. Мне казалось, что в душе он охотно верит в нашу с Лидой взаимную любовь. И я был ему за это благодарен.

Назавтра утром я встретился с Лидой у почтамта. Уединились в пустынном утреннем скверике, том самом, где вчера мы провели несколько сладостных часов.

Когда мы дошли до той самой лавочки, где вчера сидели, я стал рассматривать ее снова. Восхищению моему не было предела: передо мной стояла обаятельная, обворожительная, соблазнительная и одновременно скромная, недоступная молодая женщина!

И только мы пристроились на лавочке, как без слов кинулись в объятия друг другу, будто истосковавшиеся молодые любовники, не видевшие друг друга очень долгое время.

Мы ни о чем не говорили. Мы только целовались-миловались. Она меж тем тихо роняла слезинку за слезинкой, а я смахивал их с ее щек. И тут только я обратил внимание на то, что глаза у нее были опухшими. Я провел пальцем по ее лицу и спросил:

– Ты плакала ночью?

– Да. До утра, – прошептала она в ответ.

Она сделала паузу, потом заглянула мне в глаза и неожиданно с мольбой в голосе спросила:

– Родной ты мой, скажи мне, жил бы ты со мной, ну, если я разорву с мужем? Пусть даже без регистрации, гражданским браком?

Она говорила, рассуждала, а я, как бы застигнутый врасплох, не сразу соображал, что сказать ей. А она будто и не ждала от меня ответа.

Она говорила, а я тем временем думал свои думы. “Как можно не любить такую!? Как можно было не хотеть жить с такой умницей, красавицей!? Еще вчера вечером, когда мы из почты отправлялись в скверик, я обратил внимание на то, как мужчины пожирали ее глазами. И сегодня утром те редкие прохожие засматривались на нее – рассматривали ее фигуру, ноги, бедра, талию, прелестную головку! Грешным делом вспомнил народную поговорку о том, что красивая жена – чужая жена. В другую минуту подумал, что нет, не подходит эта поговорка к Лиде. Если ей кто не понравится, черта с два к ней подступится! “Никого до тебя я так крепко не любила, – гордо заявила она вчера. – Нико-о-го! Слышишь? А мужа тем более... Нет, он не плохой. Он во мне души не чает, но нет у меня к нему тяги. Нет – и все тут”.

Через час мы расстались: я должен был готовиться к отъезду, а ей надо было привести себя в порядок.

– Мугдаши, старина, буквально за сутки ты осунулся, – заметил дома вдруг взгрустнувший Николай.

– Переживаешь? – стараясь не обидеть меня, ласково спросил Виктор. – Ты напиши нам. Расскажи, как у вас дальше все сложится, – попросил он.

– Ты, Мугдаши, не сердись на меня, что не верим тебе. Ты пойми нас – такая неприступная, под колпаком у этого телохранителя – и вдруг такое! – как бы извинялся передо мной Николай. – Но меня смущает и другое: как вы, втрескавшись друг в друга по уши, будете себя чувствовать на расстоянии...

Как я был рад, когда на вокзале появилась нарядно одетая Лида! Она подошла к нам, кивнула Коле и Вите головой и сразу обняла меня и поцеловала. Затем протянула мне пакетик и попросила, чтобы я раскрыл его только в поезде. И заставила положить пакетик в чемодан, что я и сделал. Затем она вновь обняла меня и поцеловала, при этом с обаятельной улыбкой посмотрев на своих оторопевших однокурсников. И вдруг мои друзья не выдержали и тоже мило заулыбались. Они понимали, что ее смелое поведение и нежная улыбка как бы говорили им: “Что, ребята, удивляетесь? Сомневались? Не верили, что любовь приходит с первого взгляда? Теперь поняли, насколько это серьезно?”

А улыбки моих друзей, как я понял, выражали одновременно и недоумение, и удивление, и восхищение. И гордость за меня, своего друга!

Когда объявили посадку на прибывший поезд, мы все отправились к моему вагону. Сначала я обнял своих друзей, попрощался, и они сразу удалились, чтобы оставить нас вдвоем.

– Я в пакетик вложила тебе и записку. Прочти, пожалуйста, внимательно, – сказала и стала жадно целовать меня в губы, глаза, щеки...

Мы попрощались. Я вошел в свое купе, выглянул в открытое окно. Лида подбежала к окну. “Люблю тебя! Обожаю тебя! Жду тебя! Ты моя судьба! Слышишь?” – шептали ее уста.

Я пожирал ее глазами – хотел надолго сохранить в памяти ее прекрасный образ. Поезд уходил, а она и мои друзья уплывали куда-то в туманную даль. – Слезы застилали глаза, они душили меня. Никогда не думал, что молодой человек в 27 лет может не сдержать слез. А может, они появились от сознания того, что я теряю очень дорогого, горячо любимого человека!!

Когда я обустроился, с нетерпением достал ее пакетик. И каково было мое удивление, когда я там обнаружил помимо записки ее фотографию и клочок волос. “Чувствую, Мугдаши, – писала она в записке, – что уплывает мое счастье, моя первая любовь. И все же, родной мой человек, я говорю: если ты пожелаешь видеть меня, я буду безмерно счастлива! Я буду ждать тебя и наяву, и в своих снах... Если я влюбилась в тебя с первого взгляда, то это уже на всю мою жизнь! Ты можешь мне не верить – я-то себя знаю. Меня ждут одни страдания. Видимо, такова моя судьба! Только одного не пойму, чем я не угодила богу? Я буду ждать твоих писем, тебя! Не надо было нам случайно встретиться. Что это – божье наказание? Но за что?...”

В том же году жена родила мне вторую девочку. Получив письмо от Марка Соломоновича, я написал реферат для поступления в аспирантуру. Эти и другие события в личной жизни на время оттеснили из памяти прекрасный образ Лиды.

Вспоминал ли я о ней? Еще как! Переписывались ли? Конечно. Я получал ее письма на почтамте и бережно хранил их. Их чтение каждый раз ранило сердце. Иногда становилось невыносимо тяжело. Тут страдал я, там, в Жданове – она. Но сколько так могло продолжаться, никто из нас не знал. Она писала, что бросит все и всех и приедет ко мне в Дагестан. Но это было невозможно. Я умолял ее не делать этого. Если бы она все же рискнула и приехала, то значит мне надо было арендовать для нее комнату, устроить ее на работу, помочь ей материально. Но у меня не было таких возможностей. Да потом в нашем маленьком городе, где все друг друга знают, пошел бы шепоток, что у меня появилась любовница. И еще: зная менталитет своих земляков, я понимал, что такую красавицу в покое не оставят местные ловеласы, донжуаны и всякого рода обольстители. Нет, это было невозможно! А самому оставить жену с двумя малолетними девочками и броситься в объятия любимой женщины, я тоже

не мог. И однажды обо всем этом я написал Лиде. Месяца два ответа не было. Я стал волноваться, не стряслось ли с ней беды. И я дал телеграмму: "Почему молчишь?" Никакой реакции. И лишь спустя еще месяц я получил письмо от ее матери.

Вот что она писала.

"Милый Мугдаши, здравствуйте! Я мама вашей любимой Лиды. Не волнуйтесь — с ней все в порядке, если не считать, что вот уже два месяца лежит в больнице — нервный срыв. Письма ваши и телеграмму получала я. Она все рассказала мне: и как случайно познакомилась с вами, и о ваших красивых и умных глазах, о своей горячей любви к вам и о том, как страдает без вас... Признаться, поначалу мы с мужем обрадовались за нее — ведь мы чувствовали перед ней свою вину за ее неудачное замужество.

Она плакала и все твердила: я встретила чудесного человека — красивого, умного, доброго! Она была счастлива! Мы ей говорили, что у вас семья, что не надо ее разбивать. "Полюбила — и ладно — уразумляли мы ее. — Дорожи своим счастьем. Радуйся своей любви к хорошему человеку". Но она была неумолима... "Хочу его видеть. Хотя бы несколько раз в году. Хочу от него родить!" Мы с мужем знаем, что ко всему прочему у нее от мужа не бывает детей. Вот если бы она имела хоть одного ребенка, конечно, ей было бы легче. Но... Мы ей говорим: "Доченька, вот ты хочешь видиться с Мугдаши. Ты еще крепче полюбишь его, привыкнешь к нему — и что дальше?" Она вместо ответа — в плач. Объясняем: "Гордись своей любовью, смотри на его фотографию, радуйся — и все будет в порядке". Мы иногда думаем с мужем: вот, мол, какая чудесная была бы пара! Ведь и вы ее любите, Мугдаши? Ну, да, судя по ее рассказам и по вашим письмам — любите. И крепко! А ведь известно, сколько людей в таких случаях разводятся, чтобы сойтись с любимым человеком. Но что-то вас, наверное, сдерживает от такого шага. Да, у вас уже две дочурки, да у вас любимая работа, да вы жадно продолжаете учиться в аспирантуре, да вы страстно любите нашу Лидочку! Все так. У вас заполненная, интересная жизнь. А она кроме работы и своей горячей любви к вам — ничего не имеет. Чтобы немного отвлечь ее, мы просили ее заняться чтением художественной литературы. "Вот и Мугдаши все время в письмах советует мне заполнять свободное время чтением, — сетует она. — Ну, я и читаю. И что? Мне становится еще хуже — ведь во всех этих книгах пишут о страстной любви..." Изю дня в день съедает сама себя. Нельзя же так истязать саму себя! Должен же быть какой-то конец! Признаться, Мугдаши, мы иногда в ее беде обвиняем и вас. Вы ей пишете такие письма, так изливаете свои чувства, свою страсть к ней, будто сыпете ей соль на рану! Тем самым вы как бы издеваетесь над ней. Мы понимаем,

что холодных писем вы писать и не можете. Ваши “сумасшедшие” письма (и как только вы такие слова находите!) в прямом смысле и ее с ума сводят. Вы же умный человек, подумайте, как развязать этот затягивающийся узел. Надо ж что-то решить. Вот вы в одном из писем ей писали, что если однажды навестите ее, то уже не сможете ее покинуть! И страшитесь этого. А тут еще и муж такую телеграмму дал ей: “Я все знаю. Решай сама. Насильно мил не будешь. Василий”. А она говорит: “И хорошо, что он знает. Если бы Мугдаши приехал, то я его и спрашивать не собиралась... Сердцу не прикажешь!” С одной стороны, мы сожалеем, что вы не переспали с нашей Лидочкой. Тогда она могла бы родить от вас – и это утешило бы ее. С другой стороны, как подумаешь, что она родила бы от любимого человека, так и боишься, что произойдет страшное и непоправимое... Она соглашалась приехать в ваш городок и жить там на правах вашей любовницы. Вы вроде и не были против этого, но потом обосновали причину этого нежелательного шага. Мой материнский эгоизм не воспринял ваше объяснение. Но спустя некоторое время, мы с мужем поняли, что вы были правы. Однажды, когда она жила бы там у вас, сказала бы вам: “Нет, Мугдаши, я не хочу мизерного счастья. Я желаю, чтобы ты был только со мной – и все тут!” Если бы она, вернувшись из Краснодара, весело рассказала мне, что встретила там красивого, милого парня и подружилась с ним, то никакой трагедии не случилось бы. А то приехала, вся сияет, глаза полны счастья, обнимает меня и с нежностью восклицает: “Ой, мама, я влюбилась! В чудесного, обаятельного парня! Он – такая прелесть!.. Вот о таком парне я и мечтала!” И так далее. А когда я спросила, – “А он женатый?”, тут она вдруг и осеклась: и глаза вмиг потускнели, и настроение испортилось. И пошло-поехало. С этого все и началось. Иногда мы думаем: может быть, не надо вам больше ей писать?! И тут же ловим себя на мысли, что это еще хуже ее доконает. И так плохо, и сяк плохо. Уж и не знаем, что придумать. А ведь жалко ее – такая красавица, такая умница, такая художница! И хочется просить вас, чтобы вы приехали повидаться с ней. Какой была бы она счастливой, радостной! И боимся, что ваш приезд может и навредить ей, потому что она будет переживать, что вы вот-вот уедете домой.

Милый человек, давайте договоримся так: вы продолжайте ей писать, но, пожалуйста, побольше о своих делах, увлечениях, учебе, о силе воли, о дружбе... А то вы такие письма ей присылаете, что я взрослая замужняя женщина, простите меня грешницу, и то загораюсь. Столько в них пыла, страсти, любви, что это приводит ее в экстаз, и она в такие минуты страстно желает вас как мужчину. Такой эмоциональной,

возбужденной мы ее и не помним. Не надо, милый, больше таких писем присылать.

Училась себе в Таганрогском пединституте – и училась бы там до конца. Нет, захотелось ей в Краснодар, на красивую кубанскую землю. “Там, – говорит, – такая красивая природа, что можно будет делать хорошие эскизы...” И ведь друг Василия, как вы говорите, “телохранитель”, был с ней неотступно. И помогло? Воистину, любовь не знает преград. Все это так, но как можно было за день-два так горячо и сильно влюбиться?! Мы тоже прожили большую жизнь и тоже слышали о любви с первого взгляда, но подобного... Глядим мы с мужем на вашу фотографию (она постоянно стоит в рамочке на полке рядом с ее кроватью) и думаем: да, любая молодая женщина пленилась бы его очарованием! Вы знаете, Мугдаши, после таких выводов мы еще большей любовью проникаемся к своему дитя. И гордостью: потому что не какого-то проходимца полюбила, а достойного себе парня! Ну, от всего этого на душе не легче.

Оставляйтесь ее другом. Давайте ей советы, настраивайте ее на творческий лад, просите, чтобы она продолжала рисовать. Пусть даже на “любовные” темы, тем более, что у нее сейчас и душа к этому расположена. Пусть изливает ее на холсте. Нет худа без добра. Договорились? А ей я с удовольствием передам в больницу, что вы беспокоились о ней и что любите ее. А также попросим ее выполнить вашу просьбу: написать картину, посвященную вашей встрече в Краснодаре. Так, по крайней мере, можно будет успокоить ее сердце и нервы. Всего вам наилучшего, милый Мугдаши! Вы останетесь, в этом мы не сомневаемся, ее добрым другом и умным советчиком. Пишите ей. С уважением к вам. Мама Лиды, Таисия Николаевна”.

С тех пор прошло более 35 лет. Не знаю, как сложилась дальнейшая судьба очаровательной Лиды, а что касается моего приятеля Мугдаши Ханукаева, то он до сих пор хранит добрую память о своей неспетой песне. И еще напоминает ему о ней небольшая картина, которая называется “Ночное танго”. Она висит в рабочем кабинете Мугдаши. На ней он и она...

СКРИПКА

Шел 1962-й год. Было начало июня. Вся Кубань цвела и пахла. В добром расположении духа я после летней экзаменационной сессии уезжал на каникулы домой в Дагестан.

В тот субботний день на краснодарском вокзале было столько народу, стояло такое оживление, что яблоку негде было упасть.

– Граждане пассажиры! Поезд № 88 Симферополь-Ставрополь прибыл на второй путь. Посадка разрешается! – и голос девушки-диктора игриво и весело зазвучал в репродукторе. И все сразу засуетились: запестрели туго набитые чемоданы, корзины, мешки. Кубанский люд волной хлынул к поезду. Не успел я подняться в свой вагон, как протискивающаяся к ступенькам симпатичная женщина, тяжело дыша, схватившись за сердце, умоляюще посмотрела на меня, стоявшего в тамбуре, и попросила:

– Будьте добры, протяните мне руку, иначе я никогда не поднимусь, - и она при этом тихо улыбнулась краешком губ.

Я подал женщине руку и, когда она, кряхтя, бледная, поднялась, отправился в свое купе. Через несколько минут туда вошла и эта женщина, тихо повторяя: “Наверно, сюда, наверно, сюда”, - и, не дождавшись ответа, резко опустила на полку. Слегка отдышавшись, она достала из сумочки платок, не торопясь, вытерла пот с лица, шеи и попросила:

– Можно открыть окно?

– Да, да, конечно, я и сам хотел это сделать, - успокоил я ее и выполнил ее просьбу.

Я высунул голову из окна – на вокзале творилось такое, что он напоминал потревоженный муравейник.

– До сих пор удивляюсь, как я смогла подступиться к вагону! – продолжая водить платком по лицу, слегка улыбнувшись, произнесла она. Чуть помедлив, добавила: “Если бы вы не помогли, я там и застряла бы у ступенек!”

Через несколько минут в купе вошли еще две женщины с маленьким мальчиком. Они уложили свои вещи и, скрестив руки на груди, молча сидели и смотрели в окно, изредка покачивая головами в знак удивления тому, что творилось на вокзале.

А я тем временем наблюдал за поведением пассажирки, которой помог подняться в вагон: уж больно много тоски и печали было в ее умных, красивых карих глазах. Лицо у нее было мрачным, а взгляд – сосредоточенным. Казалось, что она находится в глубокой задумчивости. Темно-карие глаза ее были с красивым разрезом, а волосы жгучими. Если бы не отеки под глазами, ей больше сорока лет можно было бы и не дать. Все в ней говорило о том, что она перенесла тяжелое горе. Особенно одышка, выдававшая в ней сердечницу.

– Извините, пожалуйста, а как вас зовут? – совершенно неожиданно для себя вдруг спросил я ее.

Она вздрогнула, посмотрела на всех нас, стараясь понять, кто говорил и к кому обращаются. Затем остановила взгляд на мне и, видимо, уловив, чего от нее хотят, тихо ответила:

– Лия Исааковна.

Потом сообразив, что с ней просто желают познакомиться, вновь, но еще тише, повторила: “Лия Исааковна, Лия Исааковна”. Произнесла и при этом обвела взглядом меня, соседок, видимо, стремясь оценить, как мы среагировали на ее еврейское происхождение. Определив, что ее имя и отчество соседи восприняли спокойно, она немного успокоилась и даже слегка улыбнулась краешком очаровательных губ, мол, вот так-то.

Между тем мальчик соседок вел себя очень беспокойно: то он вертелся под нашими ногами, то просил, чтобы его подняли на верхнюю полку. Он старался высунуть голову в окно и тогда мать, боясь, что он выпадет, забирала его оттуда. Наконец мать посадила его рядом с собой, приказала сидеть смирно и пригрозила ему, что в случае баловства отправит его назад к дедушке и бабушке. Он захныкал и уперся головой в живот матери.

– Не надо плакать, - очнувшись от своих мыслей, обратилась к нему Лия Исааковна и стала гладить его по головке.

– Вот тебе... - и она открыла свою сумочку, достала конфету и протянула мальчику.

Лия Исааковна все еще по инерции гладила мальчика по головке, хотя продолжала смотреть в окно, за которым мимо проплывали станицы, хутора, поля, сады...

Она была настолько обаятельна и настолько удручена, что я поневоле проникся глубоким сочувствием к ее душевному состоянию.

– Лия Исааковна, извините, пожалуйста, но чем вы так сильно озабочены? – все-таки осмелился спросить я.

Лия Исааковна еще раз провела рукой по головке мальчика, затем достала папиросу, повертела ее в руке и извиняющимся голосом попросила разрешения закурить.

– Курите, курите. Окошко-то открыто, – охотно согласились женщины.

Лия Исааковна закурила, глубоко и жадно затянулась, медленно выпустила дым в сторону окна и тихо, осипшим от нервного напряжения голосом, произнесла:

– Муж и сын... здесь, – кашлянув, она кивнула в сторону окна, – на Кубани... захоронены...

Мы молчали.

– Я каждое лето приезжаю к ним из Ленинграда, – стряхнув пепел с папиросы на бумагу, чуть помедлив, продолжила она.

“Как и почему здесь? Что с ними могло такое случиться?” – пронесли у меня в голове вопросы. “Но она сказала, что муж и сын захоронены, а не похоронены...” – подумал я. – Значит, их убили...”

В купе некоторое время стояла тягостная тишина, которая, признаться, угнетающе действовала на всех нас. Мы с нетерпением ждали, когда Лия Исааковна расскажет подробнее о гибели своих родных.

– Вчера я была там, на окраине той станицы, – не поворачивая головы, добавила она.

Она на минуту вновь замолчала. Потушила папиросу, выбросила ее за окно, посмотрела на нас глазами, полными скорби и тоски, и поведала нам трагическую историю своей семьи.

... Ленинград в блокаде. Город разрушен. Ленинградцев эвакуируют на Кавказ. Один из поездов, в котором находились Лия Исааковна, ее муж и десятилетний сын, вез их на юг. Остались позади привольные донские степи. Впереди их ждали цветущие кубанские поля. И вдруг появляются вражеские самолеты. Они бомбят поезд. Облетают его, снова кружат, как коршуны, и опять обстреливают. Раздаются взрывы. И Лия Исааковна больше ничего не помнит. Ее потом подберут женщины из близлежащего хутора. Одна из них спрячет ее у себя до прихода советских войск. Лишь через день-два очнется она. И узнает, что и как произошло с поездом, людьми. Ее спасительница расскажет, как фашистские автоматчики, напад на разрушенный поезд, расстреляют раненых, а живых заберут в плен. Не раз потеряет сознание Лия Исааковна. Слезы будут душить ее, начнутся сердечные боли. Но все же добрая хуторянка выходит ее. Через два-три дня она с помощью хозяйки дома доберется до разрушенного поезда, постарается найти живыми или мертвыми своего мужа и сына. Но тщетно. “Значит, их захватили в плен. А это – расстрел”, – с тревогой подумает она.

Через несколько дней хуторянка приведет в дом молодую станичницу. “Лидия – моя кума”, - представит ее хозяйка. – Она знает все, что произошло с пленными. Послушайте ее. Может, и о своих узнаете”.

... Лия Исаakovна на минуту прервала свой рассказ – не так-то легко было вновь вспоминать все пережитое. Теперь ее красивые темно-карие глаза выражали одновременно и глубокую тоску, и безмерную нежность. Неожиданно у нее задергалась левая щека. Она опять достала папиросу. Закурила, на сей раз забыв спросить разрешения. Провела еще раз рукой по головке притихшего мальчика. Потом глубоко задумалась – вся ушла в себя. Закашляла. Потушила недокуренную папиросу, выбросила окурочек и заговорила, продолжая смотреть в открытое окно, будто бы хотела проследить, куда и как полетит окурочек.

Она продолжила рассказ, причем как-то отрешенно, и нам показалось, что эта женщина, убитая горем, говорит сама с собой. И от этого, признаться, на душе стало жутковато.

На окраине станицы стоит одноэтажное деревянное строение. Там пленные – те, кто остались в живых после налета фашистских коршунов на мирный поезд. Когда наступят сумерки, в строение войдут четверо эсэсовцев. Среди них один местный предатель. Он и обращается к пленным.

– Всем евреям и коммунистам – шаг вперед!

Подождав с минуту, и, видя, что никто не трогается с места, злобно выкрикнет:

– Я же сказал – вперед! Иначе всех вас расстреляют!

Тогда в углу строения собралось человек двадцать: мужчины, женщины, дети...

– Берите по лопате и выходите! – приказал пособник.

Когда группа пленных сделала метров пятьдесят в сторону оврага, фашистский приспешник резким окриком остановит их.

– Здесь, - и он указал рукой на место, - копаем ров глубиной в метр. Начали! – стараясь выслужиться, кричал прихвостень.

Стоял чудесный теплый вечер. Природа вокруг казалась сонной, умиротворяющей. Только изредка далеко в станице глухо лаяли собаки. Да еще тишину эту нарушали выкрики эсэсовского офицера, обращенные к предателю: “Шнель! Шнель!”

Когда наконец ров был вырыт, группе людей приказали выстроиться вдоль него.

– Надо торопиться! – орал немецкий офицер.

А основание торопиться, смести побыстрее следы своих кровавых дел было. Положение на фронте в этом направлении становилось для них

шатким: война повернулась вспять. Поговаривали, что ожидается отступление. Но когда это случится, никто из них не знал. А пока эсэсовцы аккуратно выполняли приказ сверху: немедленно расстрелять всех евреев и коммунистов.

Когда против мирных людей выстроились три автоматчика и предатель, группа по настоящему осознала, что их сейчас расстреляют.

Но не успели все пленные стать в ряд, как вдруг, будто издалека, донеслись звуки скрипки. Сначала никто и ничего не понял.

Офицер на мгновение оказался в некотором замешательстве. Затем все же поднял руку, чтобы скомандовать “огонь”, но не успел сделать этого: для него произошло что-то из ряда вон выходящее: во весь голос заиграла скрипка и полились звуки траурной мелодии.

Офицер изменился в лице, весь напрягся, не понимая, что происходит. От неожиданности он поначалу перестал соображать. Не зная, как себя вести – или приказать стрелять, или продолжать слушать, старший эсэсовец некоторое время остался в той же позе, в которой он находился перед поднятием руки.

На минуту он теряет дар речи.

– Боже мой, боже мой! Да он же играет “Реквием” Моцарта! – как вопль вырвалось у него вслух.

Затем, взяв себя в руки, и, понимая, что его подчиненные с раскрытыми ртами наблюдают за его минутной слабостью, вгрызется глазами в группу смертников. чтобы увидеть того, кто так мастерски исполняет его любимого композитора. И увидит мальчика со скрипкой в руках. И вскрикнет.

– Майн гот, майн гот! – сорвется у него громко, не то восхищаясь, не то ужасаясь.

Это потом расскажут станичники, что звуки скрипки доносились и до них и что они были потрясены тем, что мирных людей убивали под музыку немецкого композитора.

Меж тем, фашистский офицер, преодолев оторопь, в ярости прикажет пособнику заткнуть рот этому мальчику.

– Замолчи, щенок! Слышишь? – надрывался предатель. Он сильно сожмет кулаки, но не сможет сдвинуться с места. От неожиданности и злости у него отяжелеют ноги – они станут свинцовыми. К тому же ему на мгновение покажется, что скрипка этого мальчика передает всему миру о его предательстве, о его злодеяниях. С него обильно струился пот. Его холодные мышинные глазки сверлили мальчика.

А юный скрипач ничего не слышал и никого не видел. Музыка уносила его далеко-далеко. Он то представлял себе милый сердцу Ленинград, то образ любимой мамы.

– Играй, сыночек, играй! Расскажи всему миру о наших бедствиях, о зверстве гитлеровцев, – и полураздетый мужчина в очках проведет рукой по головке своего сына.

После того как офицер даст отмашку рукой, послышатся автоматные очереди, и отец мальчика упадет, смертельно раненный.

У офицера звуки мелодии смешаются с автоматной пальбой, от чего он в ужасе закроет уши ладонями. Покажется, что у эсэсовца нарушилась психика. Затем он уберет руки от ушей, чтобы уяснить, перестал ли играть мальчик.

А юный скрипач продолжал водить смычком. Офицер вновь закрывает уши, слегка опускает голову и кричит “огонь!”

Выстрелы продолжают, а скрипка все играет. Офицер мечется, но не осмеливается приблизиться к мальчику и пристрелить его. Он истерично выкрикивает “огонь!”, стремясь как можно быстрее покончить с обувшим его непонятным страхом и злобой.

Только на мгновение вернется юный скрипач к действительности. Он увидит лежащего рядом отца. Он опустится на колени, поцелует отца в лоб и, не выдержав нервного напряжения, горько заплачет. Бледное лицо мальчика еще более побелеет. Он встанет на ноги, весь съежится от страха, как загнанный зверек, затем, сжав кулачки, выпрямится и ...вновь заиграет.

Раздаются залпы. Все пленные уже убиты. Останется только юный скрипач. Наконец и у мальчика все поплывет перед глазами, и скрипка выпадет из рук. А мелодия, которую он играл, будет еще долго звучать, распространяться, все усиливаясь и эхом отдаваясь в ночной тиши.

Гитлеровцы быстро сталкивают тела безвинно расстрелянных людей в ров, засыпают их землей. И ждут дальнейших распоряжений офицера, который никак не может прийти в себя. Наконец, офицер, белый, как полотно, резко направится ко рву и сильно, что есть силы, ударит сапогом по скрипке, как по футбольному мячу. Струны издадут глухой нутящий звук, будто кто-то провел по ним небрежно пальцами.

... – Так погибли мой муж Иосиф и мой маленький сын Давид, – заключила Лия Исааковна свой рассказ и впервые за время поездки выразительно посмотрела на всех нас своими печальными очаровательными глазами.

В купе вновь повисла тягостная тишина. Казалось, что мы своим молчанием отдавали дань памяти безвинно погибшим мирным людям.

Моноotonно, размеренно-неторопливо стучали колеса поезда, который, кстати, уже подъезжал к Тихорецкой.

Лия Исааковна вышла в коридор, стала у открытого окна, вновь закурила и в задумчивости посмотрела вдаль, где мелькали поля с высокой пшеницей, обустроенные станицы, хутора, цветущие сады и пышные поля...

ИВАН СИДОРОВИЧ

В деревне Березовка поговаривали о новом наступлении советских войск. Когда Ивану Сидоровичу порой казалось, что он уже слышит отдаленные орудийные залпы, то в такие минуты выходил в огород проверить, в порядке ли погреб. “А то не ровен час и свои же накроют снарядами, – рассуждал он про себя. – И негде будет с детьми припрятаться”. Проверив, успокаивался, накрывал дверцу ветками. С трепетом в душе думал в такие минуты старый Иван Сидорович, что вот, наконец, и наступит окончательный день освобождения. “Теперь вот во второй раз вызволят из неволи”, – с грустью подумал Иван Сидорович и глубоко вздохнул.

Было Ивану Сидоровичу под семьдесят. Высокий, худой, с лицом избороденным глубокими морщинами, ему очень шла короткая седая борода. Голубые глаза казались потускневшими.

Сидел Иван Сидорович за столом и смотрел в окно. Во всю шпарило солнце. Он давно не помнил такой жаркой и сухой осени. “Уж конец сентября, пора бы и честь знать,” – ворчал он вслух. Это он так, между прочим, а мысли-то при этом были совсем о другом: в соседней деревне Федоровка жила его младшая сестра Глаша, которая тяжело болела и которая просила приехать к ней. Нужно было проведать ее. И сказав о невыносимой жаре, он ворчал вовсе не из-за этого, а потому что в Федоровке, где жила сестра, свирепствовали фашисты.

Иван Сидорович сложил свои худые, старые, жилистые руки на столе и продолжал смотреть в окно. “Вот просит и дочку Анфису с детьми взять с собой. Значит худо ей, худо. Но как в такое пекло потащиться с детьми малыми? Вот если бы старуха жива была!? Не могла подождать до победы...” – Иван Сидорович провел рукавом по щеке. Затем притянул к себе меньшего внука Ваньку, названного в его честь. Посадил на колени. Ваньке было шесть лет. А восьмилетний Петруша сидел возле матери у окна и читал книгу. В хате стояла тяжелая, гнетущая тишина.

– Небось, помирать собралась Глаша-то, – удрученно произнес Иван Сидорович, обращаясь к дочери. – А то не просила бы свидеться со всеми. Прощаться, кажись, желает.

– Да, батя, так, небось, и есть, – тихо, одними лишь губами ответила Анфиса. Помолчав, добавила: – Хоть бы уж наши возвернулись, – и она тяжело вздохнула.

– Ты о ком? О Панкрате што ль? – не поднимая головы, спросил Иван Сидорович.

– Да и о Панкрате, – всхлипнула Анфиса. – А то ведь ничего о нем не знаем.

– Ты возьми краюху сала, горсть пшена, – рассеянно бросил Иван Сидорович.

– А детей куда? – тихо, вытирая слезы, спросила Анфиса. – Возьмем с собой али как?

– Да оно так-то надежнее будет. Может, немцы сжалятся и пропустят нас в Федоровку.

– Боязно, батя. Слышал, поди, что вчера, говорят, в Федоровке делалось?

– Да слышал, слы-ха-ал, язви их в душу. Еще хуже остервенели. – Потом то ли самому себе, то ли дочери стал говорить:

– Дают им партизаны жару! Дают! Но гады за каждого своего убитого десять наших вешают. – Потом задумался на минуту и заключил:

– С голоду сеструха-то помирает, с голоду. Гордая ведь. Чужого не возьмет – знает, какое для всех тяжелое, трудное время. И в молодости такая была. Да што там говорить – все Алексеевы гордые были. Чужого – ни-ни. Все трудолюбивые были. Своим трудом, потом, кровью добывали себе хлеб насущный. И в революции участвовали, и в гражданскую за Советскую власть бились, и потом на поле с жаром, честно работали!

С удивлением смотрел на деда внук Ванятка, оторвался от книги Петруша, да и Анфиса с недоумением поглядела на отца, мол, чего это он говорит: не водилось никогда за ним рассказывать о прошлом, бахвалиться своим родом. А тут разговорился. “Значит не в духе батя. Сильно не в духе”, – сделала Анфиса вывод.

– Хорошо, хоть племянш Никита со своим батей в лес подался, – снова заговорил Иван Сидорович. – Слава богу, хоть в деревне не болтают, что они в партизанах ходят. Убили бы гады Глашу, как партизанскую мать. Как пить дать убили бы.

Он все так же задумчиво говорил и говорил, перескакивая с одного на другое. Затем резко и решительно сказал:

– Ладно, собирай детей.

И встал из-за стола.

До Федоровки было чуть более шести километров. Старшего, Петра, дед вел за руку, а младшего, Ванятку, Анфиса приспособила к себе на спину. При выходе из деревни их никто не остановил.

— Пьянствовало, поди, вчераś фашистское отребье, — тихо, но четко проговорил Иван Сидорович. — Праздновало, небось, свою победу, что вновь Березовку взяли.

Анфиса молчала. Идти было тяжело — нестерпимая духота давила, затрудняла ходьбу.

Когда прошли перелесок и до Федоровки оставалось метров пятьдесят-шестьдесят, Иван Сидорович приметил, что у здания сельсовета, где темерь располагался фашистский штаб, происходит что-то неладное: доносился остервенелый лай овчарок, фашисты сновали туда-сюда, слышалась автоматная трескотня, раздавался громкий плач женщин и детей. Так в недоумении, не понимая толком, что там происходит, они незаметно вошли в деревню. Вот тут только Иван Сидорович сообразил, что здесь — опасность. Хотел было повернуть назад, да и крикнул было уже дочери “назад, Анфиса, назад!”, как откуда-то появились два автоматчика.

Их смешали с толпой людей, согнанных сюда чуть ли не со всей деревни. “Что могло такое произойти?” — с тревогой подумал Иван Сидорович. — Полдеревни схватили. Что же будет? Куда же детей припрятать?” У старика от всех этих вопросов больно защемило на сердце. В другую минуту насадно выкрикнул:

— Анфиса, детей, детей припрятать куда-нибудь! Слышь? — Иван Сидорович кричал и одновременно глазами искал какую-нибудь лазейку. куда можно было бы загнать детей.

Почувствовав что-то неладное, заголосили дети.

— Куда же я их? — плача навзрыд, прижимая к себе Ванятку, отвечала растерянная Анфиса.

— Может, побегнуть к сестре Глаше, а? — судорожно рассуждал Иван Сидорович. — Дорогу-то к тетке помните, Петро? — Потом, засомневавшись, твердо решил: — Нет, не надо, нельзя. Заприметят гады и расстреляют. Пушай с нами останутся. Может, обойдется.

В следующую минуту от увидел в толпе соседа своей сестры Митрофаныча.

Пробравшись к нему, спросил:

— Што случилось, Митрофаныч? — он пожал ему руку и, бледный, взволнованный, страхась за детей, вновь обратился к нему: — Неужто опять перестреляют?

— Ночью партизаны ихнева главного полковника, говорят, уволокли. Вот хотят, чтобы мы выдали, с помощью кого... Э-эх, пропали мы тепери-

ча, Сидорыч. Пропали. Только вчера ночью двадцать, слышь, двадцать наших повесили. Могилы еще совсем свежие... – и Митрофаныч негромко всхлипнул в рукав.

– Да, за своего полковника не пожалеют гады и детей-то малых, – кивнул в знак согласия Иван Сидорович. – А через минуту спросил: – Как там твоя соседка, сестра-то моя Глаша? Жива еще?

– Сильно хворает она. Моя младшая ухаживает за ней. Так слава богу. сегодня и жинка-то моя зашла ее проведать – так они обе там. А немцы туда носу не кажут – боятся, что она заразная какая. Ну и слава богу. А меня сволочи выволокли. Многие успели детей по погребам захватить. Эти гады никого не жалеют.

– Спасибо, Митрофаныч. Спасибо за сестру. Вот ишь, хотели проведать ее, а тут такое... – вконец расстрогавшись, дрогнувшим голосом выдавил Иван Сидорович.

Человек 200-300 построили как попало и как стадо коров погнали на окраину деревни к перелеску, откуда Иван Сидорович с детьми и вошел в деревню. Здесь их загнали в колхозный коровник. Закрыли его и выставили охрану.

– Ну, слава тебе господи, не сразу расстреляли, – с дрожью в голосе шепотом промолвил Митрофаныч. – Не зря поговаривали, что сегодня должен прибыть их какой-то генерал, ну, их самый большой начальник. Кажись, из-за этого и отложили казнь.

– Это неплохо, это хорошо, – поразмыслив и немного успокоившись, ответил Иван Сидорович. – И все равно потом расстреляют сволочи, – чуть помедлив, заключил он и прижал к себе переволновавшихся внуков. – Затем, обратившись к дочке Анфисе, добавил с досадой: – Вот и проведали сестру Глашу...

В коровнике стоял невообразимый шум, плач и вопль. Митрофаныч посматривал по сторонам, стараясь узнать, кто из его соседей по улице попали сюда. Иван Сидорович размышлял над тем, что можно предпринять для спасения детей. Он осматривал коровник, выискивая какую-нибудь подходящую щель, откуда можно было бы детям убежать.

Коровник этот был построен давно и несколько необычно. Был вырыт огромный котлован и на него навесили крышу. небольшие квадратные окна помещения оказались прямо над землей. Так что щелей никаких Иван Сидорович не нашел.

Несмотря на то, что день клонился к вечеру, немцы целый день не появлялись в коровнике. И все равно беспокойно было на душе у старого Ивана Сидоровича. Кто-кто, а он-то знал, что гитлеровцы не сейчас, но чуть позже все же сделают свое грязное дело. Он понимал, что наступит

страшный день и будет загублено много безвинных людей. Выведут по десять-двадцать, допросят – и в распыл. Понимал это старый кавалерист Иван Сидорович и оттого еще сильнее беспокоился за судьбу дочери и внуков. Когда подобные тревожные мысли обуревали его, он посматривал в окно, размышляя о своем. Затем, задержав взгляд дольше обычного на окне, его осенила мысль: “А что если убегнуть?” Подумал – и от волнения кровь ударила в голову, дух захватило. Успокоившись, он на глаз примерил высоту и ширину окна. “Отлично, – подумал он. – Вылезти сможет и взрослый человек. Ну, а доски можно отогнуть”. Он нашел ящик, поставил его под окном, встал на него, схватил за одну доску двумя руками и потянул на себя. Доска согнулась и хрустнула. Затем он поочередно стал отгибать и другие доски. И вторая, заскрипев, подалась, но так неожиданно быстро, что Иван Сидорович чуть не свалился назад. “Так!” – довольный своей работой, воскликнул он. Высвободив окно от досок, старик выглянул наружу – часовой ходил взад-вперед, часто вытирая лицо и шею какой-то тряпкой, похожей на полотенце. Немец останавливался по нескольку раз, размахивал своей тряпкой вместо веера и продолжал свой путь от одного угла коровника до другого. Иван Сидорович засек время его прохождения туда и обратно. Выходило пять-шесть минут. “А там, на углу, он еще, притомившись от духоты, стоит полминуты,” – потирая руки, довольный, заключил Иван Сидорович.

Несколько раз молча понаблюдав Иван Сидорович за часовым. “За это время, – решил он, – дети успеют добежать по перелеску и укрыться за деревьями. А если немец заметит детей?” – от пришедшей недоброй мысли дрожь прошла у старика по спине. Он вдруг отчетливо представил, как заметивший детей немец стреляет по ним из автомата. В глазах Ивана Сидоровича от волнения зарябило, и он от неожиданной слабости чуть не свалился с ящика. Но удержался – взял себя в руки. Потом все же твердо решил совершить побег.

– Ну что, дочка, рискнем? – шепотом, все еще продолжая волноваться, заговорил Иван Сидорович.

– Чево рискнем, бать? – заморгала глазами, ничего не понимая, Анфиса.

– А вот – в окно. Я подниму тебя – и беги. А?

– Вы што, бать? Может, все еще обойдется, – испуганно прошептала Анфиса, крепче прижимая от страха к себе детей. Затем, задумавшись, грустно выронила: – А што с детьми-то делать будем?

– Вот то-то и оно, – рассудил старик. А потом повторил свое опасение: – Вдруг споткнутся, а немец и заприметит...

Иван Сидорович глубоко задумался. Одна и та же беспокойная мысль не давала ему теперь покоя. Он вновь мысленно представил себе, как немец строчит из автомата по детям. Страх одолел его, ему стало снова не по себе. Вытерев испарину со лба рукавом рубахи, Иван Сидорович глянул на внуков, которые полудремали на коленях матери. “Да и что подумают остальные о нашем побеге? Скажут, свои шкуры спасают. Вон какой женский и детский плач стоит целый день в коровнике,” – рассуждал он про себя.

– А как же они? – неожиданно, будто угадав мысли отца, спросила вдруг Анфиса. – Что они о нас-то скажут?

– Так мы же ради детей, – чуть повысив голос для убедительности, оправдывался Иван Сидорович. – Ради ж них... – и он умолк, услышав, как скрипят ботинки у часового. “Странно, – подумал он, – почему, когда я так долго наблюдал за ним, то ни разу не услышал скрипа? Уши тогда что ли заложило? Это от волнения значит. Ботинки новенькие, коли скрипят”. И он снова загорелся идеей побега. “Надо спасать детей! Мы пришлые в этой деревне и чего зазря помирать! А то там сестра Глаша богу душу отдаст, а тут завтра всех нас ни за понюх табаку расстреляют. Нет, нельзя этого допустить!” – лихорадочно взвешивал Иван Сидорович все за и против. Затем вслух сказал дочери:

– Сначала сами убежим. Потом Митрофаныч поднимет детей и выпустит их через окно. И никаких возражений. Все. Готовься.

Затем повернулся к Митрофанычу, рассказал ему о своем рашении и, получив с его стороны одобрение, попросил подсобить детям и добавил:

– Ну, а если с вами все благополучно обойдется, передашь сестре Глаше, что так, мол, и так, что хотели ее проведать, да бог не дал. Поклонись ей от нас. Когда утихомирится все, придем мы снова. Поберегите ее, Митрофаныч. Век благодарен буду.

Он все это так подробно рассказывал, что Митрофанычу показалось, будто Иван Сидорович ни на минуту не сомневается в успехе затеянного дела.

Когда Митрофаныч пообещал подсобить детям, Иван Сидорович бросил “ну, будь здоров” и поднялся на ящик. С минуту понаблюдал за часовым и, когда тот только-только проскрипел ботинками мимо окна, вылез, протянул руки Анфисе и потянул ее наверх. Они встали во весь рост и быстро побежали к перелеску. Довольно быстро достигнув первых деревьев, отец и дочь бросились, как по команде, на землю. Гулко стучали их сердца. Дышать от волнения, от бега и духоты было невыносимо трудно. Они уткнулись лицом в траву, чтобы ничего не слышать и не

видеть. И волновались они не за себя – за детей. Они боялись поднять головы, думая, что их может заметить часовой.

Между тем часовой, вернувшись назад, потоптался на месте, вытерся полотенцем и, размахивая им перед своим носом, медленно зашагал к правому углу коровника. Не успел он пройти мимо окна, как Митрофаныч вытолкнул наружу сначала Петра, а затем и маленького Ванятку. Мальчики, взявшись за руки, побежали туда, куда указал им Митрофаныч. “Как бы случайно не повернулся фриц проклятый,” – в сильном волнении за детей подумал Митрофаныч. Он на всякий случай высунулся из окна. “Если только фриц повернется, – решил Митрофаныч, – то сразу окликну его и отвлеку. Спросит, чего надо, объясню, что пить хочу. Пока суд да дело, дети и добегут до своих”.

Как только Митрофаныч увидел, что мальчики добрались благополучно до перелеска и разом упали на землю, он сошел с ящика и, тяжело дыша и кряхтя, опустился на пол и негромко вымолвил: “Фу ты, боже мой! Отлегло!”

Иван Сидорович и Анфиса продолжали лежать на земле. В ушах от сильного напряжения стоял сплошной гул. Иван Сидорович теперь в душе проклинал тот час, когда надумал с детьми потащиться в Федоровку. “Пошел бы сам – и баста! Так нет, старый дурак, и детей забрал,” – ругал себя на чем свет стоит Иван Сидорович.

А Анфиса, которая уже не способна была думать ни о совершенном побеге, ни о детях, ни о фашисте, расхаживающем возле коровника, ни о тех, кто там остался, и ни о том, что будет завтра с ними, находилась в полубредовом состоянии. Не знала она, что за эти несколько мучительных минут в ожидании детей посидит целая прядь ее пышных, русых волос. В мыслях своих она была рядом с мужем Панкратом. Он в офицерской форме, с пистолетом в руке, командуя солдатами, бежит вслед за своей Анфисой, которая указывает ему, где находятся дети, и кричит: “Вперед, бойцы! Вон там в коровнике мои дети. Их надо спасти!” Затем Анфиса мысленно оказалась на своей свадьбе. Какое было веселье – смех, улыбки, танцы, шутки... Потом Панкрат взял ее, Анфису, на руки и перед всем честным народом вынес во двор прямо под дождь. А из хаты кричали: “Горько!” И он целовал ее долго и крепко по мокрому от дождя лицу и губам.

“Почему до сих пор нет детей? – с тревогой подумал Иван Сидорович. – Может, не в ту сторону побегли? Слава богу, что хоть выстрелов не слышать”. Последнее обстоятельство несколько успокоило старика. Превозмогая сильное волнение, весь вспотевший от напряжения и духоты, Иван Сидорович все же решился посмотреть в сторону коровника. И вдруг... Дети бежали прямо к ним. От радости у него закружилась

голова. Напрягая силы, Иван Сидорович присел и сразу, схватив подбежавшего Ванятку, потащил к себе на траву. А Петруше тихо и резко сказал: “Ложись!”

Видя, что мать лежит, не двигаясь, Ванька с некоторым беспокойством освободился из объятий деда и ползком добрался до лежащей недалеко матери. Он подергал мать за плечо и, тихо всхлипывая, приговаривал: “Мам, маманя”. Мальчику показалось, что мать умерла, потому что она не подавала признаков жизни.

А Анфисе, которая все еще находилась в полубредовом состоянии, чудилось в это время, что немцы, догадавшись об их побеге, нагнали их и теперь требуют встать. Видя, что Анфиса не реагирует на слова Ванятки, дед забеспокоился. Он подполз к ней и радостно-возбужденно произнес: “Анфис, дочка, наши мальчики прибегли, слышь?” Лишь после того, как услышала голос отца, Анфиса подняла тяжелую, как камень, голову и, увидев своих детей, обезумевшая, сразу обняла их и глухо запричитала.

Стемнело. Иван Сидорович встал во весь рост и зашагал с детьми через перелесок в свою деревню. Вскоре они были уже дома. Дети, уставшие, голодные, расморившиеся, как только слегка поели и почувствовали успокоение, сразу заснули. А Иван Сидорович, как и утром, сидел, скрестив руки, за столом. Анфиса, немного пришедшая в себя после всего пережитого за день, предложила отцу поесть, но, услышав в ответ что-то невнятное, решила не трогать его больше и присела к окну, скрестив на коленях руки.

Старик понемногу стал засыпать прямо за столом. А Анфиса, думая свои думы, невидящими глазами смотрела в окно, за которым стояла белая мгла. “А ведь убили бы, ни дать ни взять,” – от этой мысли, страшной и нелепой, она невольно поежилась. Затем облокотилась на подоконник, упершись руками о подбородок, и тихо-тихо запела: “Куда, куда, тропинка милая, куда, зовешь, ку-у-да ве-е-дешь? Кого ждала-а-а, ко-го люби-и-ла я, уж не дого-о-нишь, не ве-ер-нешь...” Вспомнила о муже Панкрате, прервала пение. “Как-то он там? Жив ли? Где сейчас воюет? Пишет, небось, а письма не доходят... Думает ли о нас? Мается, небось, что при немцах сидим. Что ж поделаешь – такова уж наша судьба”.

Она постелила себе постель и легла.

Проснулась Анфиса от резкого стука в окно. Быстро подбежала к окну, отодвинула шторы и с волнением подумала: “Неужто фашисты за нами притащились?” От такой мысли встrepенулась вся. Затем, суетливо поглядев в окно, – там ничего не видать было – успокоила себя: “Будут фашисты шастать по ночам!” Она протерла сонные глаза, еще раз

приткнулась к стеклу и увидела женское лицо. “Батюшки, неужто пришли сообщить, что тетка Глаша померла?” – тревожно подумала она.

– Анфис, а Анфис, это я, – наконец услышала сонная Анфиса чей-то голос, – Наталка я, открой, а то продрогла вся, – продолжала барабанить по стеклу соседка, подруга Наталья.

По ночам, несмотря на дневную жару, резко становилось прохладно. Чувствовалось дыхание осени, его приближение.

“Чего это она на ночь-то глядя? Тут все устали, глядишь проснутся...” – проворчала Анфиса не то вслух, не то про себя и отодвинула щеколду. Поеживаясь от предрассветной прохлады, выпустила Наталью.

– Ты чего ни свет ни заря? Что-нибудь случилось? – Анфиса повела подругу к столу. – Ты тише, наши умаялись.

– Какой тише, дурочка! Наши пришли, а вы дрыхнете тут. Наши, говорю, пришли! – Наташа громко кричала. – Зажигай свет! – она обняла Анфису и потащила ее к столу, над которым висела керосиновая лампа. Сама подняла фитиль, а потом пошла плясать по всей хате.

Анфиса спросонья никак не могла уразуметь, о чем толкует ее озорная подруга, а потому бессвязно спрашивала:

– Кто наши-то? Твой Федор и мой Панкрат што ли?

– Красная Армия вновь пришла! Анфиска, наши родные воины опять возвратились! – и Наташа, заговорив еще громче, вдруг не выдержала и зарыдала на всю хату – так всякого много набралось на душе за эти годы. Анфиса стояла в растерянности, не веря своим ушам. Потрясенная вчерашними событиями, а теперь и этим сообщением, она стояла посреди комнаты с висевшими как плети руками и машинально переводила взгляд с уже проснувшегося отца на детей, выглядывавших с полатей, и обратно. И взгляд ее будто бы спрашивал у всех: верить или не верить наташкиным словам. А когда младший, Ванятка, сообразив что к чему, и крикнул “ур-ра, побе-да!”, то обняла Наталку, продолжавшую рыдать, и сама тоже заголосила на всю хату.

“Пусть поплачут, на душе полегчает немного,” – подумал Иван Сидорович. А потом вслух сказал:

– Ну слава богу! – не обращая внимания на их плач, вздохнул Иван Сидорович. – Кажись, теперича навсегда нас высвободили. Не успеют гады расстрелять жителей Федоровки. Жив Митрофаныч! Жив! Теперича можно будет спокойно и к сестре Глаше сходить. Надо срочно ее проведать, а то умрет и не успеем попрощаться. – Потом обратился к ревушим подругам. Чтобы прервать их плач, нарочито громко спросил: – Как вы думаете, будет Федоровка к утру освобождена?

– Будет, Иван Сидорович, будет! – обняв старика за плечи одной рукой и вытирая слезы тыльной стороной другой, уверила Наташа.

Затем старика охватило сомнение в приходе красной Армии, и он спросил Наташу:

– А чего же пальбы не слышать было, как в тот раз?

– Была пальба, была, Иван Сидорович, – продолжая обнимать старика за плечи, уже улыбаясь, подтвердила она. – Это вы так крепко спали, что даже выстрелов не слышали. Но в основном без боя взяли нашу деревеньку, без боя, Иван Сидорович, – уже совсем успокоившись, весело, с радостной улыбкой, продолжая смахивать с щек оставшиеся слезинки, докладывала Наташа. – Немцы, говорят, убегали быстрее псов. В сторону Федоровки, говорят, побегли. Наши даже ни минуты не стояли в Березовке. Они, говорят, еще до рассвета хотели Федоровку взять.

Наташа на минуту примолкла и, утомленная, присела на табурет возле Ивана Сидоровича. И вновь заговорила:

– Вас пушкой не добудешься. Так спали... Полчаса стучала в окошко.

На это замечание Наташи ни Иван Сидорович, ни Анфиса ничего не ответили. Откуда было знать Наташе, что вчера эти люди пережили страшные, тяжелые минуты в своей жизни и что, рискуя жизнью, убежали из барака вместе с детьми. Не видела Наташа и прядь седых волос на голове Анфисы при тусклом свете лампы. Ничего этого не знала Наташа, а потому на их молчание не обратила особого внимания.

– Э-эх, Анфиска, – и Наташа, встряхнув своими длинными густыми и золотистыми волосами, сильно ударила кулачком по столу и каблуком об пол, и загуляем мы нынче. Вот вернутся мой Федор и твой Панкрат и напоемся мы с тобой в два голоса... Э-эх, петь будем, гулять будем... – Потом сразу оборвала фразу и надтреснутым голосом заключила: – Два года не пела. це-е-лых два го-о-да, – и она вновь зарыдала.

Ивану Сидоровичу на минуту показалось, что он опять в коровнике и что опять слышит плач детей и женщин...

Ванятка, спустившись с полатей, уже занял место возле деда, прижавшись к нему, а Петруша, по обыкновению, расположился у окна.

“Два года не пела,” – вдруг, тяжело вздохнув, мысленно повторил Иван Сидорович наташины слова. Слова эти навеяли на старика страшную тоску. Два года в вечном страхе за детей. Два года под сапогами гитлеровских палачей в ожидании своих. Освободили было их, думали, все – пришла долгожданная свобода. А все обернулось по-старому. Теперь вновь отвоевали Березовку. А радость убита, захоронена. Она особенно и не прорывается наружу. Как говорится, и радость не в радость, когда знаешь, сколько людей погибло безвинно, сколько заживо захоронено, когда такие

больные и старые люди, как сестра Глаша, с голоду и холоду одни в своих родных хатах помирают. Э-эх, да разве же только это? Иван Сидорович, не выдержав, быть может, в первый раз за всю свою долгую жизнь, закрыв лицо руками, глухо простонал: и от радости, и от досады, и от всего-всего перемешку.

Потом, когда на душе немного полегчало, он рубанул рукой воздух и, протирая рукавом рубахи глаза и щеки, весело произнес:

– Давай-ка, дочка, подай нам выпить и закусить. Теперича имеем право распечатать пол-литровку.

Они пели то заунывные, то веселые песни. То плакали, то смеялись, Не заметили, как начало светать.

Через час возбужденная Наташа примкнет к оживленной толпе односельчан, а Иван Сидорович вновь отправится с детьми в Федоровку. И никто из них не знал еще, что через несколько часов в Березовку завезут почту, скопившуюся за последнее время, и почтальон вручит Наташе извещение о гибели ее мужа Федора. Что Федоровку части Красной Армии сразу взять не смогут и что на подступах к ней будут идти ожесточенные, кровопролитные бои, что в боях этих примет участие и старый Иван Сидорович...

Многого еще не знали все они.

А пока Иван Сидорович выпил вторую чарочку, закусил ломтиком сала, вытер губы и, стукнув ладонями об стол, громко заявил:

– Собирайтесь, пойдем проведаем тетку Глашу. Кажись, на сей раз твердо нас освободили.

А про себя подумал: “Заодно узнаем, какова судьба людей, сидящих в коровнике”. Затем, глянув на утихомирившуюся Наташу, почти торжественно произнес:

– Спасибо, соседка, спасибо, родная, за радостную весть!

* * *

Когда Иван Сидорович с детьми подошел к перелеску и увидел лежащих тут раненых, то понял, что сражение идет на самых подступах к деревне. Понял Иван Сидорович, какие здесь с поздней ночи идут кровопролитные схватки. Совсем близко слышались разрывы артиллерийских снарядов, пулеметные очереди. Иван Сидорович присел к забинтованному солдату, который полулежал у поваленного дерева и стонал.

– Что, сынок, худо? – спросил Иван Сидорович.

– Худо, отец, худо, – слабым голосом ответил солдат.

И Иван Сидорович понял его ответ двояко: то ли худо ему, солдату, то ли худо там, на передовой. “Ну, коли они часа три сражаются, то, кажись, действительно нашим худо приходится,” – рассудил Иван Сидорович. Затем с горечью подумал: “Во второй раз не попаду в Федоровку. Наваждение какое-то”.

– Ты, Анфис, забери детей назад. Видно, не так-то скоро мы сегодня к своим попадем, – обратился он к дочери и добавил: – А я туточки немного задержусь. Может, раненым чем подсоблю.

А про себя подумал, что с ранеными-то он заниматься будет не в силах, но винтовку в руки возьмет.

– Хорошо, батя. Ты смотри только под самый огонь-то не лезь, – посоветовала Анфиса.

– Ладно, дочка, иди, – ответил Иван Сидорович и движением руки дал знать, чтобы они двигались домой, в Березовку.

Когда Анфиса повернула назад, Иван Сидорович облегченно вздохнул, спокойный за них, и хотел было сразу зашагать на передовую, но вдруг остановился и обратился к раненому:

– Сынок, дай мне твой автомат. Я хочу туда пойти.

– Возьми, отец, – тихо и безразлично ответил солдат, зная, что он теперь ему не скоро пригодится.

Иван Сидорович запрокинул автомат за плечо и стал пробираться вперед. Добравшись до передовой и видя, что никто на него не обращает внимания, Иван Сидорович расположился неподалеку от молодых автоматчиков и стал стрелять по остервенело идущим вперед фашистам. Когда, как ему показалось, от его выстрелов начали падать немцы, Иван Сидорович не без содрогания подумал: “Как прут, гады! Как прут. Это у них психической называется атака” Иван Сидорович на минуту оторопел от такой обстановки. Посмотрел по сторонам: хотел узнать, как реагируют на такое наступление другие воины. и вдруг заметил, как несколько молоденьких солдат встали во весь рост и побежали в сторону перелеска. “Отвык я от сражений, постарел... В кои веки в руках оружие-то держал!? А автомат и не слушается меня, тяжело его стрелять – не удержишь во время стрельбы,” – досадовал Иван Сидорович.

Вывел старика из оцепенения грозный окрик:

– Куда? Ку-у-да, спрашиваю! Назад, стрелять буду!

Бежавшие сразу легли на землю. Почувствовал Иван Сидорович, что не выдержали молодые воины, дрогнули в бою. “Может, это у них первый бой? Ну, ничего, освоятся,” – подумал так Иван Сидорович и решил: “Пример им нужен, пример!” И вдруг неожиданно для самого себя он встал во весь рост, высокий, худой, с седой, аккуратно подстриженной

бородкой, и, громко крикнув “Ребята, вперед!”, бросился в атаку на врага, на ходу стреляя из автомата. Ох, как он теперь был послушен в его руках! Откуда силы взялись! Когда он убедился, что за ним встали и ринулись в бой остальные, тогда он еще раз громче прежнего выкрикнул:

– За родину! Ур-ра!

Громкое, дружное, многоголосое “ура” потрясло воздух.

Лишь через некоторое время, когда советские воины штурмом вошли на окраину Федоровки, вдруг до него, будто издалека, дошли обрывки фраз:

– Старика-то ранило, – произнес с сожалением кто-то.

– Медсестру к старику, срочно! – приказал другой.

Только тогда понял Иван Сидорович, что говорят именно о нем. Слегка придя в себя, он почувствовал острую боль в груди. Двигаться он не мог, а потому как лежал, сраженный, так и продолжал лежать.

Анфиса с детьми не успела пройти перелесок и выйти на дорогу, ведущую в Березовку, как вдруг услышала разрывающее воздух громкое “ура”. Она вздрогнула, затем остановилась. Замерли и дети от неожиданности, ничего не понимая. Потом Анфиса медленно повернулась и, крепко держа за руку Петра, быстро зашагала в сторону Федоровки. Сердцем чувствовала она, что с отцом может случиться что-то неладное. “Не усидит он на одном месте. Не усидит. Не такой характер! Полезет ведь в самое пекло,” – рассуждала она, бледная и взволнованная, и еще быстрее зашепила к деревне.

Земля вокруг была почти вся выдолблена снарядами. То тут, то там валялись трупы убитых бойцов. Медсестры перевязывали раненых, санитары выносили их с поля боя. Какое-то неодолимое чувство страха за отца охватило Анфису. Она то и дело высматривала его среди убитых. Потом тихо, чтобы не нарушить покой погибших воинов, с дрожью в голосе попросила сына Петра:

Петруш, сына, высматривай, нет ли среди убитых деда, – сказала и еще крепче взяла сына за руку, будто ему откуда-то грозила опасность.

Иван Сидорович, которому уже сделали перевязку, продолжал лежать на окраине деревни. Он своими мертвенно-голубыми глазами смотрел в чистое безоблачное небо и всякие мысли блуждали в его гудящей голове: “Добрались ли дети до дому? Освободили ли людей из коровника?” Затем с усилием вспомнил, как дети при нем еще ушли к перелеску, и успокоился. В следующий миг его посетила другая тревожная мысль: “Не попали бы свои же снарядами по коровнику. Накроют столько народу... Да и по глашиной хате могут грохнуть...” Он тяжело застонал от боли и подобных недобрых мыслей и вскоре забылся. И уже в забытии

повторял одну и ту же просьбу: “Пи-и-ить. Пи-и-ить”. Но его никто не слышал. Затем, когда он на некоторое время вновь пришел в себя, то, как ему показалось, громко крикнул: “Ко-ро-овник спа-сай-те! Там люди”. И опять впал в беспамятство.

Когда Анфиса с детьми ступила на окраину деревни, ее хуже прежнего стала мучать мысль об отце. Не успела она пройти мимо крайней хаты, как вдруг услышала хриплый, но очень похожий и родной отцовский голос, который просил пить. Она завернула за хату и увидела отца, лежащего на земле, с перевязанной грудью, откуда еще сочилась кровь. Анфиса быстро спустила на землю Ваню, нагнулась к отцу и протяжно заголосила:

– Ро-о-дной ты мо-о-ой, батенька! Ты слы-ы-ышишь меня?

Вслед за матерью заголосили и дети. Анфиса приподняла отцу голову, положила себе на колени, поправила ему скомканные волосы и вновь обратилась к нему:

– Бать, ты слышишь меня? – Теперь она уже не плакала, а только ошалело смотрела то на отца, то на детей, которые продолжали плакать и повторять: “Деда, а деда”.

Между тем Иван Сидорович слегка приоткрыл глаза и посмотрел вокруг невидящими глазами: туманная пелена покрыла их. Но чьи-то голоса откуда-то издали смутно доносились до него.

– Слышь, бать? – как только он приоткрыл глаза, сразу начала тормошить отца Анфиса. – Батя, ты видишь меня? Это я, твоя Анфиса. А вот и дети – Петр и Ваня, слышишь?

Но Иван Сидорович, хотя тупо и уставился на нее почти остекленевшими глазами, не подавал признаков жизни. Тогда Анфиса вспомнила про бутылку с водой, которую она взяла на дорогу для детей, достала ее и дрожащей рукой стала по капельке вливать отцу в рот воду. Через минуту губы Ивана Сидоровича зашевелились. А еще через минуту туман в глазах немного рассеялся, и он понемногу стал видеть лица перед собой. “Вот и сестра Глаша, небось, пришла меня проведать,” – подумалось ему, увидев Анфису.

Не знал еще Иван Сидорович, что сестра Глаша час назад умрет в своей хате, так и не дождавшись своих родных, что советские воины полностью очистят Федоровку от фашистов, что в освобождении деревни примут участие в составе партизанской группы муж Глаши Трофим и сын ее Никита. Ничего этого не мог знать Иван Сидорович.

Он всматривался в лицо нагнувшейся к нему женщины и силился опознать ее. Когда же наконец он узнал Анфису, то сначала безмерно обрадовался ей и даже постарался чуть-чуть улыбнуться, но в другую минуту

искрой промелькнула мысль: “А ведь Анфиса с детьми должна была домой возвратиться. Как она здесь оказалась?” А потом решил, что, наверное, Анфисе сообщили о его ранении, и успокоился.

– А где Петруша и Ванятка? – глухо спросил Иван Сидорович.

– Да вот же они, батя, туточки. Да где же им быть? – обрадовавшись, что отец пришел в себя и заговорил и что, может быть, все еще обойдется и выживет отец, быстро-быстро затараторила Анфиса. И чтобы отец лишний раз убедился, что дети действительно здесь, Анфиса громко, чтобы отец хорошо слышал, стараясь быть веселой, попросила детей:

– Дети, поцелуйте деду, поцелуйте, родненькие!

Петр целовал деда в одну щеку, Ванятка с возгласом “деда, не умирай!” – в другую.

– Побереги детей, Анфис, – загробным голосом протянул Иван Сидорович. – Скоро придет долгожданная победа! Потерпите. Дождитесь Панкрата. Тетку Глашу поцелуйте за меня. Одни мы оставались из Алексеевых. Племяншке Никите и зятю Трофиму поклонитесь, – растягивая слова и хрипло дыша, проговорил Иван Сидорович.

Он давал наставлени с полным сознанием того, что смерть уже подкралась...

С окраины деревни толпами шли возбужденные люди: кто плакал, кто смеялся, кто радостно кричал...

– Слышишь, батя, вышли люди из коровника! Вот счастье-то! – торпливо заговорила Анфиса, чтобы отец узнал об этом и спокойно, с чистой совестью умер. – Слышишь, батя? – продолжала она зывать к отцу.

Но Иван Сидорович уже ничего не слышал: он был мертв.

Похоронили Ивана Сидоровича рядом с партизанской матерью, сестрой Глашей в Федоровке. На похоронах были сын Глаши Никита и ее муж Трофим. И сосед Митрофаныч с женой и дочерью. Когда отец и сын дали прощальные залпы над могилами дорогих им людей, Анфиса, стоявшая в глубокой задумчивости, держа за руки детей, громко и с глубокой скорбью проронила:

– Вот, наконец, и свиделись брат с сестрой! Будь прокляты фашисты!

ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

В купе пассажирского поезда нас было четверо. Сосед с верхней полки, рыжеволосый крепкий парень лет 27-28, урывками минут на тридцать заходил в купе, лежал, чуть дремал, вновь уходил. Вечером же он появился сильно выпившим, присел на мою полку и, не обращая на нас никакого внимания, вытащил из двух карманов сильно скомканные купюры разного достоинства и стал их разглаживать.

– Сволочи, дармоеды, – ворчал он, – За чужой счет жрут и пьют.

– Ты о ком? – между прочим спросил я.

– Да дружки мои. Выпили, а расплатиться заставили меня. Давай, говорят, рыжий, плати.

– Играли? – в открытую, как свой, спросил я его.

– Да-а, – и он с удивлением посмотрел на меня, на минуту прекратив складывать деньги. – Как ты догадался? – Он бесцеремонно перешел со мной на «ты», хотя по возрасту я был вдвое старше его. – Немного выиграл... – согласился он. Вот и решили за мой счет напиться в ресторане.

Время было за полночь. Соседки наши спали. Рыжеволосый, махнув рукой, перестал складывать деньги (видимо, не хватило терпения) и рассказывал их вновь по карманам.

– А почему вы в разных вагонах едете?

Вместо ответа он внимательно посмотрел на меня пьяными глазами и невнятно ответил:

– Да с билетами как-то так получилось...

Я уловил, что вопрос мой пришелся ему явно не по душе.

– А кем ты работаешь дружок? – резко спросил он.

– Журналист я.

– О-о, это ничего. Это даже интересно. Я думал, легавый какой переодетый. В командировку что ли?

– Да. В Баку. А вы куда?

– В Дагестан.

Он оживился.

– Курить не желаешь?

– Можно.

– Ты, наверно, догадался, кто я? – уже в тамбуре, улыбаясь и подмигивая, сразу приступил он к разговору. – Журналисты – хитрый народ.

– Вор или что-то в этом роде.

– Верно, дружок.

– И едете в разных вагонах вовсе не из-за билетов...

– Тоже верно. Нельзя нам в одном вагоне. Можем напиться, переругаться, выболтнуть что-нибудь... А ты, дружок, чего так любопытствуешь? Заложить что ли хочешь?

– Так, профессиональный интерес.

– Это хорошо. Да и чтобы заложить, факты надо иметь. Надо за руку поймать. Вот нас, например, в городе вся милиция в лицо знает. Ну и что? Не пойман – не вор. Мы свое отсидели.

Мой собеседник выкуривал сигарету за сигаретой и становился все более разговорчивым. И он поведал мне многое о себе, о своих друзьях, о своем ремесле. Вот его рассказ-исповедь, который я привожу в сокращении и с некоторым изменением стиля.

– Ты, наверное, хочешь знать, как и почему становятся ворами. Расскажу сначала о себе. У моей матери пятеро детей. Отца нет. Он давно от нас ушел. Мать работала на швейной фабрике. Мы росли в постоянной нужде. Всегда завидовали тем, у кого есть велосипед или футбольный мяч, новый костюм или часы. Начинали задумываться: почему у одних есть все, а у других – ничего. Нас, повторяю, было пятеро, а работала одна мать. Небольшие алименты отца, пособие на двух младших и материна небольшая зарплата швеи-мотористки – вот и все. Усмотреть за нами она просто не успевала. К тому же двое из нас (я и младший братишка) стали отбиваться от рук. Начались пропуски уроков в школе, поздние возвращения домой. Школа поначалу поинтересовалась причинами нашей плохой учебы, вызвала раза два на беседу мать – и все. И записала нас в раздел трудновоспитуемых. Но между тем школа палец о палец не ударила, не забила тревогу, чтобы мы до конца не опустились. Наоборот, чуть позже она всячески постаралась вообще избавиться от нас. Никому, дружок, до чужой судьбы нет дела. Никто не хочет, чтобы у него за других голова болела. Очерствели и бездушными стали. И мы обозлились. На все и на всех: на отца, оставившего нас, на школу, которая отмахнулась от нас, на соседей, которые не позволяли своим детям играть с нами... Дети из неблагополучных семей, дружок, никому не нравятся: ни своей бедностью, ни своей забитостью или, наоборот, своей шустростью, ни своей плохой учебой, ни своей жестокостью.

Вот ты, браток, смотришь на меня удивленными глазами, мол, вор, а рассуждает грамотно. Ведь плохими да дурными не рождаются, такими становятся.

А в каких условиях мы жили? В двух маленьких комнатенках — шесть человек. Это уже позже, когда у меня завелись деньги, я через одного знакомого выбил для нашей семьи трехкомнатную квартиру, ну, конечно, за определенную сумму. Ту же квартиру мы должны были получить честно, так как много лет стояли в очереди как многодетная семья. Но, как видишь, дружок, пришлось все равно дать взятку.

Это все потом, а тогда я злился, что не могу придумать что-то такое, чтобы помочь матери. Думал, на рынках кто-нибудь попросит нас помочь, и мы с братом сможем подзаработать. Но никто нам не доверял: боялись, что убежим. А однажды... Будь проклят тот день! Заметив наши блуждающие взгляды, к нам на рынке подошел дядька лет 30-35. Поздоровался, по-доброму, посвойски поговорил с нами. Спросил, кто мы, чьи, где живем, что тут делаем, как учимся. Тогда мы не понимали, зачем все это ему нужно. Оказалось, что дядька таким образом сколачивал себе «рабочую» силу. Все его дружки были рассованы по лагерям, а он остался один (его тогда прикрыли). Вот и не мог он в одиночку орудовать. Создал из таких сопляков, как я, бригаду, проинструктировал, пригрозил, и мы начали выполнять его задания, приобщаться к его ремеслу. Поначалу обзванивали квартиры, запоминали членов семьи, чью квартиру дядька собирался обчистить, кто из них когда уходит и приходит. «Ничего, дружочки, — успокаивал он нас, — вот подзаработаем, и я щедро расплачусь с вами».

А когда он однажды ушел со своей добычей, сильно я пожалел ту семью: плакали взрослые, дети, приехала милиция... Я наблюдал всю эту картину, так как дядька приказал находиться неподалеку и слушать, какие будут приняты меры для преследования вора. Сочувствовал я этим людям, которые годами что-то откладывали, а их в один час взяли и разорили. Признаться, после того случая я стал бояться. Плохо спал по ночам, вздрагивал во сне. Думал, придут сейчас за мной и спросят, где дядька. Решил я тогда больше с ним не встречаться. Наивным был. Нашел он меня. Подозвал. Не ругал, не кричал. Спокойно напомнил, что бывает за измену...

Так однажды, подобрав меня на рынке (а братишку я отшил сразу от этого дела), заставил подчиниться своей воле, завербовал и сделал из меня вора-рецидивиста. До сих пор ненавижу его за мою искаленную душу.

Ты думаешь, мать и старшие сестры не интересовались моей жизнью, тем, откуда у меня завелись деньги, где я пропадаю целыми днями? Школу я бросил, нигде не работал — возраст, видишь ли, не подошел. Они догадывались, чем я занимаюсь, умоляли оставить новых друзей. Конечно,

прояви тогда мать, школа настойчивость, решительность, чтобы оторвать меня от приятелей... Но мать, больная и уставшая от забот и хлопот, стыдилась рассказать кому-либо о моих занятиях. Просто боялась позора. В те юношеские годы я еще надеялся, что найдется какой-нибудь сильный, мужественный человек, который запугает дядьку и заберет меня от него. Ох, как тогда я сожалел, что нет рядом отца. Безотцовщина, дружок, страшная беда. И получилось так, как твердили мои новые дружки, что от судьбы не уйдешь...

— Это меня на рынке подобрали, а других вербуют везде, где можно: во дворах, на улицах, в парках... А стоит нам, начинающим, попасть в колонию. Какая там с нами воспитательная работа проводится! Здесь более опытные дружки так нас, молодняк, обучают воровскому ремеслу, что залюбишься. Тут и обязательства берут, и клятву в верности дают, адресочками обмениваются. Одним словом, браток, настоящий университет проходят.

Всем кажется, что вот, мол, выйдут домушники на свободу и сразу завяжут, людьми, так сказать, станут, честно жить и трудиться начнут. Нет, дружок. Не так-то это просто. Большинство, что интересно, набрали денег — живи — не хочу, а все равно идет на дело. Во-первых, привычка срабатывает, во-вторых, обязательства. Подкинут нам адресочки, и сразу начинаем подготовочку. И пока не возьмем куш, не успокоимся. У нас логика простая: два-три хороших захода, а при случае сразу расколоться. Чистосердечное признание у нас ценится. Знаем, что больше двух-трех лет не дадут. У нас гуманные законы. Вот мы и пользуемся ими. Отсидим и вернемся. Зато потом — гульба, житуха. Такая жизнь тебе, браток, и не снилась. Откуда деньги берем после тюрьмы? Хе-хе. Да мы «заработанное» у своих верных храним до возвращения. Выходим — берем. Ну, а им проценты за хранение. А обычно или после очередного дела, или после возвращения из лагерей мы всей бригадой — в ресторан. Но только перед закрытием. Выкладываем определенную сумму и до рассвета кайфуем, балдеем. И музыканты играют нам всю ночь. Я же тебе, дружок, говорю, кто имеет деньги, тот и музыку заказывает. Имеем мы на это право? За труды свои, за страх свой постоянный?

Мой собеседник на минуту умолк. Конечно, думал я, он устал. И язык у него сильно заплетался. Он стоял, упершись лбом в дверное стекло. Казалось, что он плачет. Но нет, он не плакал. Только слышно было, как он скрежетал зубами и стонал. Жаль было этого парня, умного, рассудительного, который при ином повороте судьбы мог бы стать прекрасным человеком и семьянином. Жаль было, что в свое время рядом с ним не оказалось такого человека, который сумел бы постоять за него, маленького и

беззащитного подростка. Обидно, было, что и сейчас, когда он хотел бы порвать со своими дружками, не может этого сделать, так как связан с ними одной незримой, но прочной нитью. Всем своим рассказом он как бы умолял меня, других и просил: «Спасите наши души!» Но как?

Между тем он резко выпрямился и снова заговорил.

– Я все сделаю, дружок, чтобы мой сын стал честным, порядочным человеком. Но вот беда: он все равно потом узнает, что его отец был вором. Э-эх... (Он несколько раз от обиды стукнул головой об стекло). Теперь я у них опытным домошником считаюсь. Они же боятся, когда кто-нибудь завязывает. Думают, что выдадим их с потрохами. Ведь каждый из нас знает и явки, и секреты производства, и адреса дружков из других городов, и людей, которые прячут наворованное и продают его. Да потом, честно говоря, боюсь я за сына. Они же, гады, стоит только завязать, или меня, или мальчика прибьют. Э-эх, если в свое время нам в школе сумели бы создать интересную, содержательную жизнь, если бы сумели увлечь нас чем-нибудь полезным.

Если бы наша мать имела время и возможность хоть сколько-нибудь в течение дня бывать с нами... А мы ведь любили и уважали ее. И сочувствовали ей. Тогда, может быть, никто и ничто не смогло бы омрачить наши чистые души. Но не случилось всего этого, дружок. Вот ваш брат журналист писал о том, что во всех домах двери ни к черту не годятся, что воров ничему не стоит высадить их. Заходи – не хочу. Что-нибудь предприняли в этом плане? Хе-хе. Да никому и ни до чего у нас дела нет. Никто не хочет себя утруждать. Вот мы без труда и лезем в квартиры. Или еще факт. Почему мы смело проникаем в квартиры? Да потому, что народ трусливый пошел. Каждый за свою шкуру дрожит, безразличным к чужой судьбе стал, бездушным. А нам это как раз и на руку. Мы иногда взламываем двери, даже зная, что в соседних квартирах есть люди. Почему? Это уже психологический момент. Мы знаем, что из-за страха они никаких мер не предпримут. Многие понимают, что, вызови они по телефону милицию, мы их накажем. Как? Это уже другое дело. Но отомстим. Не мы, так другие наши дружки. Мы должны запугать каждого, кто нам мешает или старается, чтобы мы попались. А когда мы таких наказываем, то слух об этом быстро распространяется по городу. Другие уже боятся вмешиваться. Мы тоже кое-что соображаем по психологии: не лыком шиты. Народ еще как рассуждает: моя хата с краю, своя рубашка ближе к телу... Из всего этого мы извлекаем для себя выгоду.

А кому, дружок, было дело до трудностей моей матери, а? Не знаешь? А везде кричим: семья – ячейка общества. Оттого, что страдали такие, как моя мать, оттого, что в обществе появляются такие, как я, в пер-

вую очередь страдает само общество. Да и государство теряет много. Философия? Еще какая, дружок! А то что же получается: одно собачье существование у нас, домашних. Деньги есть, у детей и жен шмоток навалом, а счастья и спокойствия не купишь. Мы в вечном страхе за себя, в беспокойстве (особенно, когда отсидживаем срок) за семью, а семья в постоянном волнении за нас. Как ни крути, везде одно несчастье.

Да, вот ты спрашиваешь, как мы выбираем очередную жертву. Во многих больших домах есть у нас наводчики. В их задачу входит изучение, так сказать, материального положения жильцов и времени их ухода и прихода домой. И все такое. Затем мы получаем подробный адрес. И при благоприятных обстоятельствах мы совершаем операцию. Жалко людей или нет? Как сказать? С годами, с опытом в момент «творческого вдохновения» об этом ли думать? Здесь мысли заняты в двух направлениях: взять побольше и смыться вовремя.

Ты, дружок, сказал о своих наблюдениях. Верно. В домах, где идет ремонт, кражи происходят чаще. Ведь и среди работников ремонтно-строительных управлений у нас имеются свои наводчики. Они высматривают квартирочку побогаче и сообщают нам об этом. А в суматохе ремонтных работ нам легче вертеться на этажах и под видом маляра, штукатура или сантехника пробраться в подъезды и квартиры.

— Э-эх, дружок. Многого ты не знаешь, — он хитровато улыбнулся, мол, я тебе такое скажу, что ахнешь. И он действительно заинтриговал меня. Он выдержал паузу и с явным наслаждением произнес:

— У нас свои ребята и в милиции сидят, дружок! В самом УГРО. Да, да, — и при этом он так надменно посмотрел на меня, что мне, признаться, как дилетанту стало не по себе.

— Ну да? — единственно что смог я произнести.

— Да, да, дружок. Как внедряем их туда? Очень просто. К примеру, отслужил брат нашего ворюги армию, и мы его упросили пойти на службу в милицию. Конечно, обещаем ему хороший куш ежемесячно. Но что интересно, что требуем от него усердия в работе. Зачем? Ведь в УГРО не каждого берут — надо проявить кой-какие достоинства. Через год-полтора он туда и попадает — то что нам и надо. Чем они нам помогают? О-о, во многом. Во-первых, когда нас однажды зафиксировали, и мы не смогли до конца провести операцию, хозяева заявили в районное отделение милиции и потребовали схватить нас. Их дочь видела нас уходящих. В УГРО ей показали фотки наших из картотеки. И она указала на одного из них. «Наш парень-службист», естественно, тоже при этом присутствовал. Доложил нам. Ну, а мы, чтобы напугать этих хозяев и чтобы они забрали назад свое заявление, такой шантаж устроили, дружок! Правда, такой вариант нас

обычно не устраивает, но когда встречаются настырные, мы не жалеем средств. В чем выражается такой шантаж? Это уже другой рассказ...

Ты хочешь знать, почему и как в наши воровские компании попадают парни из благополучных семей. Это старо, дружок. Об этом все знают. Но так уж и быть, коротко объясню. Родители в детстве их балуют, в школьные годы сильно опекают, все, что ни попросят, покупают. Они начинают с жиру беситься. Чуть повзрослеют, девочек заводят, шастают с ними по ресторанам. Но для этого уже не хватает тех денежек, которые выделяют им сердобольные родители. Тогда они сначала начинают красть у своих родителей. Их ругают, хватаются за сердце, потом прижимают своих птенчиков к стенке, но уже поздно. Появились такие прихоти, что их надо удовлетворять. А как? Нужны деньги. Вот тогда они и находят нас (или мы их) – тех, кто, по их мнению, легко делают деньги. В обществе, дружок, как в маленькой семье, если царит неблагополучие, то получается, как в той поговорке: пришла беда, отворай ворота. Честно скажу: мы этого сорта дружочков не любим – биографии разные. А пока наши ряды продолжают пополняться всякого рода людьми.

И вдруг мой собеседник сник: глаза у него слипались. «А-а, ладно», – и он, махнув рукой, отправился в купе. Когда я вошел туда, то услышал его мерное похрапывание.

Я еще долго не мог заснуть. Столько проблем в своей исповеди поднял мой сосед, над которыми следовало глубоко подумать. От их скорейшего и успешного решения, думал я, будет зависеть моральное и нравственное оздоровление общества. И очень хотелось верить, что этот парень сумеет все же порвать с воровским миром и заживет честной трудовой жизнью.

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Рассказы

ТАКСИСТ

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

НЕПРИСТУПНАЯ

СКРИПКА

ИВАН СИДОРОВИЧ

ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

Рассказ-очерк
МАНУВАХ

Новелла

ПИСЬМО

МАНУВАХ

Смерть Мануваха Дадашева – поэта, журналиста и офицера Красной Армии представляется мне по-разному: то мне кажется, что он с автоматом в руках, идя в очередную атаку, немного подавшись вперед, шепчет стихи, пронизанные огромной любовью к родине, то мне кажется, как он, сидя на каком-нибудь пне во время выдавшейся передышки, сочиняет стихи или пишет статью, очерк или письмо друзьям, родным. И будто в одном из таких положений и застала его врасплох вражеская пуля. Как бы то ни было, я представлял Мануваха Дадашева с шепчущимися губами и обязательно с блокнотом и карандашом в руках.

Писал ли он действительно что-нибудь на фронте? Да. До нас дошли его заметки и письма... А стихи? Говорят, нет, стихов он не присылал. Кто знает, быть может, он хранил их до дня победы, до дня возвращения. Но зато он посылал много писем, каждое из которых представляет собой сжатое до предела, лаконичное и законченное художественное произведение. Часть этих писем увидела свет. Их сохранил, а затем поместил в “Дагестанской правде” от 6 ноября 1943 г. друг Мануваха Дадашева, писатель, Заслуженный деятель науки ДАССР Александр Федорович Назаревич.

“В этих письмах, - писал А. Назаревич, - как в ярких вспышках – живые куски пройденного нами года побед. Это документы эпохи, и вот они, как они есть”.

Забегая вперед, скажу, что письма эти по праву можно отнести к новеллам, написанным от первого лица. Кстати, и стихи свои этот лиричный поэт писал также от первого лица. Посмотрите, с каким патриотизмом, оптимизмом, с какой уверенностью в победе над фашистами сравнивает он воинов-дагестанцев с горными тураами в стихотворении, условно названным “На снежной вершине стремительный тур” (в переводе Владимира Портнова):

*...Из дальних окопов, сквозь грохот войны
Стремлюсь я в родимые дали.
Мы туры твои и твои мы орлы
И клятву на верность мы дали.*

*Неправда, что горец в походе устал,
Наш гнев и священ и неистов
На горные склоны твои, Дагестан,
Умрем, но не пустим фашистов.*

*Бой скажет "отбой" и, упав головой,
На каску, что мягче подушки,
Во сне прохожу я знакомой тропой,
Забывши про мины и пушки.*

*На снежной вершине стремительный тур
Застыл изваянием гордым.
Кругами уходит орел в высоту,
Тень крыльев скользит по нагорьям.*

Конечно же, Манувах Дадашев не на войне сочинил это свое стихотворение. Год его создания, к сожалению, почему-то нигде не указан. Позволю себе заметить, что поэт написал эти строки или когда учился в Бакинском офицерском училище, или когда работал в Дагестанском научно-исследовательском институте языка и литературы в первый год войны, еще до ухода на фронт. То есть, когда ему было всего 27 лет.

Когда мы познакомимся с письмами поэта с фронта, сразу почувствуем разницу в подборе слов, в стиле, в тематике, характере сравнений, в подаче образов...

Вот одно из них, датированное 28.10.42 г.

"Друзья! Больше трех месяцев я не подавал вам вестей о себе, а я знаю, как это тревожно в наши тяжелые дни. Представляю ваши вытянутые физиономии – думали: погиб паренек, а честное слово был уж не такой он плохой... Нет, жив Манувах! Жив и будет жить, чтобы обязательно видеть победу. И не только видеть, но и самому ее добывать. Ведь гитлеровская Германия – что тот кувшин, о котором говорит наше старинное изречение: падает камень на кувшин – горе кувшину, так или иначе – все горе кувшину.

Быть, быть кувшину разбитым, ибо крепче камня, чем наша Красная Армия, я не знавал.

Но все это пока в будущем. А пока что кувшин катится на нас, и я за эти месяцы истил всю горечь отступления. Мы покидали Ростов, Константиновскую, Цымлянскую – одну за другой привольные донские станции, и вы себе представить не можете, как это тяжело. Как-

нибудь после войны я расскажу вам, как наша дивизия попала в окружение и как с боями она все-таки прорвалась на восток, к своим.

Были приключения и у меня. В Цымыанской горстка моих людей очутилась в самой немецкой гуще. Пришлось прятаться. Бои шли недалеко, и я знал, что мы можем еще пригодиться. Приказал притаиться и выжидать. Держались врассыпную. Мне лично пришлось залечь в гряду развалин. Когда-то это была, видно, неплохая хатенка, но, признаюсь, что для меня удобств в ней не было никаких. Пришлось целых три дня недвижно лежать, точно ты умер. Он смеет все, а ты лежи – потому, что рядом немцы. И есть хочется – хуже, чем после тифа. Кропил меня дождь, продирали утренние заморозки, а на третий день угостили и эти проклятые развалины – прямо на спину обвалилась огромная каменюга, и я вынужден был так и лежать под ней, потому что рядом залопотали фрицы.

На наше счастье грохот боя усилился и родные наши воины были уже где-то у околицы. Я решил ударить в тыл. Ох, посмотрели бы вы, друзья, какая тут была каша и как могут быть напуганы немцы даже тогда, когда они наступают.

Правда, было в тот миг от чего испугаться и вашему покорному слуге. Его заметили трое фрицев и решили взять живьем – все-таки старший лейтенант. Не тут-то было! – я оказался хитрее, чем та лиса фалфараш-ахун, сказки о которой мы с тобой, Александр, собирали до войны. Я юркнул за хату, а потом очутился сзади и уложил-таки из пистолета немецкого обера, а с двумя фрицами пришлось драться врукопашную. Я вижу, друзья, как вы смеетесь – такой маленький, тицедушный Манувах, и вдруг врукопашную! – Но ей-ей это правда, и неправдой было бы только сказать, что я одолел их. Они бы, проклятые, прикончили меня, но тут подоспели два наших здоровенных украинца и так мы втроем раздобыли первых моих двух “языков” Я потом смеялся, что это они меня “раздобыли”, но командование посмотрело иначе, и вот на груди у меня кружочек и на нем: “За отвагу” Честное слово, для тицедушного тата это не так уж плохо!...

Поэт ярко, правдиво воспроизводит сцены боев. Язык письма сочный, колоритный. Слог легкий, приятный. Много в письме задушевного лиризма, любви к своей многонациональной родине. Даже в тяжелые для себя минуты Манувах Дадашев остается веселым, жизнерадостным. Сколько в новелле искрометного юмора и одновременно суровой правды о войне! Сколько в строках письма чувствуется ненависти к врагам и сколько уверенности в том, что враг будет все же разбит!

В письме-новелле выпукло дан образ Родины. Будучи сам жителем страны гор – Дагестана, Дадашев со свойственной ему душевной теплотой говорит о *“привольных донских станицах”*, о *“неплохой хатенке”* под Цымлянском.

Автор использовал в своем письме выдержки из народных сказок и старинные изречения. Письмо, повторюсь, полно чувства юмора... Поэт дважды попадает в комические ситуации. То на него *“обвалилась огромная каменюга”*, то ему *“с двумя фрицами пришлось драться врукопашную”*. Ему, доброму по натуре, ниже среднего роста человеку.

Манувах Дадашев, герой письма-новеллы, командир роты. Он ценит своих солдат. Он бережет им жизнь. С гордостью и любовью говорит поэт и о всех советских воинах: *“...родные наши воины были уже где-то у околицы”*. Примечательно, что у Дадашева *“я”* тесно переплетается с гордым *“наша”*: *“Наши воины”*, *“наша Красная Армия”*.

Идет только второй год войны, враг яростно наступает, а поэт полон веры в победу советского народа, *“... ибо крепче камня, чем наша Красная Армия я не знавал!”*

Он любил людей. Особенно глубокую любовь и симпатию питал он к великому русскому народу. Об этом свидетельствует другое его письмо от 7 ноября 1942 г.

“Милый друг! Если бы ты знал, из какого пекла идет к тебе эта открытка, у тебя бы мурашки забегали по коже. Но как даже в этом крошечном аду не поделиться радостью, если мы сегодня читали сталинский доклад “Уничтожить гитлеровскую армию – можно и должно!” – здесь, в городе, носящем имя вождя, эти слова звучат особенно торжественно. Я верю и знаю, что так и будет. Мы зарылись в землю так, что никакая сила нас отсюда не вышибет.

Саша, дорогой, только здесь я понял огромный глубокий смысл того факта, что основное бремя войны принял на себя великий русский народ. Что это за люди! Как я восхищаюсь ими – настоящие чудо-богатыри. Такие – и выстоят, и погонят немцев назад, на запад. Обязательно погонят! Как бы я хотел быть достойным моих славных русских воинов, в одних рядах с которыми маленький тат сражается плечом к плечу!..”

Перед нами предстает легендарный образ народа-богатыря, народа-исполина.

И опять же хочется сказать о хорошем, приятном слоге письма, который делает его задушевым и лиричным, полным страстной публицистичности.

И не только о себе, о своих будничных, но в то же время необычных делах рассказывает поэт. В его письмах можно прочитать о храбрости,

мужестве и отваге людей разных национальностей. Им посвящает он лучшие строки своих писем, о них пишет очерки, которые присылает в “Дагестанскую правду”. Тема дружбы народов красной нитью проходит через все письма-новеллы.

21.11.42 г.

“Друзья! Мои письма не поспеют за телеграфом, но не писать об этом нельзя. Наступление! Какое это великое слово! Мы выстояли и мы сомнем врага у стен города Сталина!

Я написал вам для газеты, как за этот город сражался наш земляк Баймурзаев. Получили ли? Напечатали? Да, Магомед-Загир достоин русских богатырей. С ним было только десять человек, а немцы, окружившие их, на четырех машинах увозили одних только убитых и раненых. Герои были уже мертвы, а немцы все еще не осмеливались высунуть из укрытий свои носы. Мы даже мертвые страшны врагу. Я горд, что во главе этих героев был горец. У нас здесь есть еще один такой. Это мой друг – аварец, капитан Качалов. Я обязательно напишу о нем – поместите?”

Коллективный герой его писем – советский народ. Тема мира и войны – основная тема его писем. Поэт жаждет мира и счастья для людей. Он всеми силами души ненавидит черную личину фашизма. Дадашев рад видеть сияющие лица людей и мрачен, когда видит тысячи убитых мирных советских граждан. При этом слова его окрашены печалью, а эпитеты и сравнения как бы осуровлены.

18.02.43 г.

“... Да, товарищи, вы можете мне завидовать. Настали наконец-то дни нашего праздника, и мы, испытавшие горечь отступления, в полной мере наслаждаемся сейчас победой. Милый друг, я и передать тебе не могу радость и счастье, которые пережил за два дня пребывания в Ростове. Нас целовали на улицах девушки, нас носили на руках. Ради одних только этих дней стоило мучиться, страдать и переживать все невзгоды. Я счастлив и только чудовищные следы зверства немцев отравляют радость победы. Они разрушали все. В зоологическом саду 14 тысяч расстрелянных евреев Ростова. Я видел и в ненависти сжимал кулаки. Женщины и дети, дети, дети... Одно только желание у нас – отомстить! И одно только утешение – это трупы немцев, которые мы видим повсюду. Целые горы трупов. Я видел, как на некоторых из них вездесущие ростовские мальчишки укрепили язвительные таблички: “Завоеватели Ростова!”

Боль и страдания Родины – это боль и страдания самого поэта. Он глубоко скорбит по ранам своей страны.

Новеллы Мануваха Дадашева являют собой исторические документы, в которых правдиво, с полнотой художественного изображения повествуется о бедствиях народных, о зверствах гитлеровских подонков, о несокрушимости Красной Армии, о ненависти советских людей к фашистским завоевателям. В этих письмах мы прослеживаем победоносное шествие Красной Армии на запад.

Скромный и отзывчивый человек, чуткий и смелый офицер (командир 7-й стрелковой роты, 613-го стрелкового полка 91-й дивизии 51-й армии), талантливый журналист, душевный и лиричный поэт, Манувах Дадашев даже в пекле боев не забывал ни на минуту о своих друзьях и близких, которые с нетерпением ждали от него весточек. И его то веселые и грустные, то задушевные и всегда полные оптимизма письма с фронта воодушевляли людей в тылу, придавали им бодрость духа и уверенность в победе. Такова была сила его слова.

6.8.43 г.

“Дружище! Я перед тобой в непролазном долгу, но сам понимаешь – воюем, писать некогда. Что написать тебе о себе? Радости нет конца. Не скрою – я немножко опасался лета и вот – такой результат. И могло ли разве быть иначе? Если б ты знал, друг, как мы теперь сильны. Какие люди! Сколько вооружения! Мы никогда еще не были так богаты. И вообще мы научились не только воевать, но и жить на войне. Помню, раньше мы считали, что раз война, то все – по-боку! Где-нибудь за 50-80 километров от фронта мы в прошлом году с затаенной тревогой в душе ложились спать и не раздевались неделями. А сейчас я, советский офицер, за 200-300 метров от противника, как у себя дома, укладываюсь на ночь со всеми удобствами – снимаю сапоги, рубашку и иногда даже брюки. Появилась уверенность в себе.

Сейчас мы снова зарылись в землю – в землю украинскую, но зарылись, сам понимаешь, до поры. Будет жарко немцам и от нас. И я сообщаю вам, друзья, что ваш Манувах не подкачает. Качалов и я были в нашей части в числе первых, кто получил медаль “За оборону Сталинграда” Это единственная и неповторимая награда за величайшее в истории сражение – сталинградское. Какое великое имя! Клянусь – жизнь отдать, но не опозорить его...”

В последнем письме, которое я привожу в этом очерке, вы обратите внимание, с каким искренним чувством радости, с каким воодушевлением

поэт-патриот передает о паническом состоянии немцев и опять же с нескрываемой любовью говорит о просторах Родины любимой.

23.8.43 г.

“Ты просил меня написать пару строк о самочувствии фрицев. Самое подавленное и угнетенное, Саша! Я видел много пленных, и это уже не те, что кричали, желая выслужить пощаду: “Гитлер капут” Эти перепуганы насмерть и молчат со страху. В одном городке мне недавно хозяйка квартиры рассказывала, как, живший у нее, немецкий офицер, навзрыд плакал целыми ночами. Плачет, потом напьется и снова плачет. Ему было страшно на Востоке. А потом страх пришел и с Запада – наши союзники разбомбили его город и из дому ему пришло письмо, что какое-то его там заведение или мастерскую разбомбили. Немец в эту ночь уже не плакал, а выл. А под утро он застрелился... Вот она, какая теперь немчура!... Дружище! Даже в разгаре боев я выкроил минутку, чтобы порадовать тебя открыткой. Тронулось! Мы идем вперед и вперед. Знаешь, я никогда не был на Украине, но мне кажется, что я всегда жил здесь. Это ведь – Родина и какая радость сражаться за нее. Я понял: если есть счастье на земле, то это – идти вперед! Напутствуй же нас в пути частыми добрыми письмами с Кавказа. Помните фронтовиков! Учтите, родные, что каждая сводка с фронта, приносящая вам столько радости, добывается ценой крови – и крови не малой. И самое радостное в наших лишениях – это письма из дому...”

Просто, естественно, без всякого нажима смог Дадашев передать внутреннее душевное состояние немецкого офицера. Но когда читаешь эти строки, то кажется, что вся свора немецких вояк в таком вот паническом состоянии.

Александр Федорович Назаревич, завершая свою статью “Манувах” в газете “Дагестанская правда”, писал: *“На этом письме переписка с Манувахом Дадашевым – отличным воином и чудесным другом – у нас оборвалась. Говорят, что он где-то в госпитале в Ворошиловграде”*

Да, действительно Манувах Дадашев был ранен 26 августа 1943 года (снайперская пуля попала ему в голову) и умер 27 августа в эвакогоспитале в Ворошиловграде. Письмо Дадашева своему другу А. Назаревичу было датировано 23-м августа. То есть, фактически, за четыре дня до смерти. В начале 50-х годов поэта-воина перезахоронили в братскую могилу, что в сквере имени 9 мая по улице Родаковской в г. Луганске.

Вот что писал в своей книге – военно-патриотическом очерке – “Ради жизни на земле” гвардии майор в отставке Г.Г. Виноградов (Махачкала. Дагкнигониздат, 1976 г.) на странице 62:

“Наступление 63-го гвардейского корпуса, в состав которого входила наша дивизия, продолжалось. Полки дивизии форсировали реку Волчью и освободили село Федоровку. В боях за Федоровку беспримерное мужество проявил командир роты 613-го стрелкового полка дагестанский поэт Манувах Дадашев. Его рота заняла дамбу и удерживала ее до подхода всего полка. Ни один фашист не прошел через дамбу. Все откосы дамбы были усеяны трупами гитлеровцев. Но и рота Дадашева понесла большие потери. Кроме командира роты погибли политрук В. Христенко, парторг Я. Дьяков, комсорг С. Чигряй, замполит Н. Сергеев и другие...”

Манувах Дадашев любил свою Родину и за нее погиб. Мне кажется, что и погиб он в бою, или, слагая стихи о Родине, или, собираясь написать очередное письмо своим друзьям. *“Ты спрашиваешь: пишу ли я стихи? Да, да, пишу. Или ты думаешь, что битва, стихи и победа – так уж далеки друг от друга? Ого, как это все близко, товарищ! Ну, а насчет жизни дело простое – надо жить, обязательно жить, чтобы видеть победу. Видеть и добывать ее!”*

Жил на земле человек. Жил и слагал стихи. Стихи о своей Родине, о родном народе. Да, говорят, стихов он не присылал. Но он писал их. И наверное, хранились они у него в командирской сумке, которая осталась лежать где-то в поле боя, на полюбившейся ему украинской земле. И в стихах этих, конечно же, поэт проклинал войну, воспевал мир, пел гимн счастью людскому. И еще, наверное, он несколько стихов посвятил привольным донским станицам и бескрайним степям Украины, где и пал смертью храбрых с одной только думой: с думой о Родине.

Он многое еще не успел сделать. Он о многом еще не успел написать. Слишком уж мало прожил человек на земле: всего 30 лет.

Ярко засверкала звездочка на небосводе, а потом быстро пошла вниз, оставляя за собой короткий след. Звездочка исчезла, и след постепенно оборвался.

Так и с человеком. Только у человека жизнь обрывается, а след, оставленный им, сохраняется, и дела его продолжают жить в доброй памяти людей.

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА

Рассказы

- ТАКСИСТ
- СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- НЕПРИСТУПНАЯ
- СКРИПКА
- ИВАН СИДОРОВИЧ
- ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА

Рассказ-очерк

МАНУВАХ

Новелла

ПИСЬМО

ПИСЬМО

Он ушел в ночь. Канул в темноту. Растворился. Ушел оскорбленный, с неприятным осадком на душе. Ушел гордо, с высоко поднятой головой. Он не сказал ни слова. С широко открытыми глазами выслушал ее пространное обвинение. Она говорила, что его мать – эгоистка, что она любит только его одного, что она мало внимания уделяла ей, что и он хорош – ни разу не упрекнул свою мать. Она предлагала ему уйти от матери и жить отдельно. Она убеждала его в том, что его мать – отсталая женщина, что она не способна понять ее.

Ильгана спокойно выслушал жену, постарался было переубедить ее, доказать, что его мать – замечательная женщина, что она просто не поняла ее еще... Да, она гордая. Ну и что? Разве это плохо? Да, на ее лице часто бывает выражена грусть. Так это оттого, что жизнь у нее сложилась тяжело.

А она и слушать ничего не желала. “Я не могу так. Не могу”, – твердила она одно и то же. “Мне нужно пожить одной. Я должна подумать, разобраться”, – немного поостыв, сказала она в заключение. “Если что, то я напишу”, – успокаивая плачущего ребенка, глухо произнесла она.

Ильгану почему-то не обидели ее наивные рассуждения: злость куда-то делась. Он любил ее, и прощал ей ее капризы. Но мать уважать он от нее требовал. И будет требовать.

Мысли прерывались. Мысли не шли дальше. И это то ли оттого, что вспоминать не хотелось горькие слова упрека в адрес матери, то ли оттого, что устал думать. Впрочем, и оттого и от другого вместе. Сейчас у него было одно лишь желание: побыстрее добраться до Дербента. Дома можно будет спокойно поразмыслить обо всем.

Город остался позади. Автобус подобрал его на Дербентском шоссе, куда, как ему показалось, он добрался довольно быстро. Целых три километра от тещино дома прошагал он в задумчивости.

Ильгана сидел в автобусе, съехившись – он только сейчас почувствовал, как сильно продрог. Вглядывался в темноту. Кругом одни виноградники. Только где-то вдали мерцали огоньки, оторванных от трассы селений. Да вот еще впереди блестел асфальт. Почему он так ярко бле-

стит? Он напряг мысли, всмотрелся получше в темноту и только тогда заметил, что по стеклу давно барабанит дождь.

Дождь... И той осенней ночью тоже шел дождь. Но тогда все сложилось иначе. Тогда была любовь, было счастье. Тогда и дождь был кстати: он освежал его горячую, опьяненную от счастья голову. Капли дождя, стекая по лицу, приятно щекотали и нос, и губы...

Мысли сбивались, путались. Почему-то вспомнил, что родился 9 мая 1945 года. В самый день победы. Он, конечно, не мог слышать победных артиллерийских залпов. Не мог видеть праздничных салютов над страной, радостных, счастливых лиц людей. Он только сейчас знает о том, как страна отмечала этот день. А тогда, 9 мая 1945 года, он, завернутый в одеяло, лежал на руках молодой женщины, красивой и бледной. У нее был страшно усталый вид и много морщин на худом, бледном лице. Ей, этой женщине, было всего 25. Да, так и было. В сороковом вышла замуж, в сорок пятом родила. Но уже без мужа. Он умер, не дожив до 9 мая. До дня победы. До дня рождения сына. А как он мечтал взять его на руки, подбросить вверх, заглянуть ему в глазенки и спросить: "Каким ты будешь? Какова будет твоя-то жизнь?" И спросить-то так хотел, потому что чувствовал, как быстро сковывает его болезнь, смерть подкрадывается.

Он не успел спросить сына ни о чем. Он не увидел его. Он успел только одно сказать жене: "Береги ребенка. Будет сын, назови моим именем".

Так и жили потом вдвоем. Он без отца, она без мужа. Часто Ильгана в детстве слышал от матери, что отца у них отняла проклятая война. Помнит, как при этом текли слезы по усталому и красивому лицу матери. Он тогда еще не понимал, как это война могла отнять у них отца: ведь он умер дома. Не понимал еще недавно и того, почему мать, такая молодая и красивая, не пожелала все это время выйти замуж. Уже позже, когда он, Ильгана, окончил десятилетку и уезжал в Махачкалу поступать в университет, мать вместо напутственных слов рассказала ему вкратце о своей жизни, о своей судьбе.

— Много парней за мной ухаживало, ох много! А полюбила я только твоего отца. Вместе мы работали. На консервном комбинате. Его родители, узнав о наших встречах, всячески стали препятствовать им. У твоего отца была нареченная, а по нашим татским обычаям он должен был исполнить волю родителей и жениться только на ней. А он почти не знал ее, ну, понятно, и не любил.

Что там долго рассказывать, сынок. Вынесли мы тогда все трудности, выпавшие на нашу долю. Победили. Потом женились. Поначалу жили у его родителей. Мстила мне твоя покойная бабка. Покоя не давала. Вы-

держала все. А вскоре отец ушел на фронт. Ушла тогда я от них – заела бы меня бабка без него. К тому времени комбинат и комнатку мне выделил. Пуще стала ненавидеть свекруха. Чего только не наговаривала. Злые люди языки чесали, а добрые – сочувствовали.

Помнит Ильгана, как слушал он мать, не поднимая глаз, украдкой вытирал слезы, как мальчишка, рукавом рубашки. Может, мать и сказала бы ему: “Не надо, сынок, слышишь?” Но она не замечала ни его слез, ни того, как сама роняла их, горькие и жгучие.

Шла война, и она ждала мужа как все. Терпеливо вынашивала мысль, что вернется он, обязательно вернется. И вернулся. За год до окончания войны. С пробитыми легкими. Подлечился. Вроде дело пошло на поправку. Но... прожил год и скончался. Потом и он появился на свет.

А теперь и он был женат. И он любит свою жену. И у них растет сын. Мысли вновь вернулись к той, от которой недавно ушел.

Он познакомился с ней в Махачкале в последний год учебы в университете. Затем часто приезжал к ней. Нравились друг другу, но вслух об этом не говорили. Чуть позже все случилось просто: она познакомила его со своими родителями. Ну, а затем сыграли свадьбу, и она переехала к ним в Дербент. Жили с матерью. Все бы хорошо, но одно смущало Ильгана в жене: не уважала она мать. И однажды он об этом сказал ей. Вот с этого и началось. Она расплакалась. Упрекнула его в черствости, а мать в эгоизме, забрала ребенка и уехала. И вот спустя некоторое время, Ильгана и навелstil ее.

Зима сменила осень. Ильгана, корреспондент городской газеты, собирался писать очерк о строителях и почти каждый день приходил к ним на стройку. Подолгу бывал у них. Как-то во время обеденного перерыва сидел он со строителями в пристройке за грубо сколоченным столом. Было тепло. Вдруг дверь пристройки резко рвануло и холодные морозные струи воздуха ворвались в комнатушку. Все мигом повернулись: в дверях стояла женщина, повязанная в теплый пуховый платок. Грустная улыбка блуждала на ее лице.

– Ильгана Мататов здесь? – негромко спросила она.

В первую минуту Ильгане было непонятно, что привело мать сюда, на стройку, да еще в такую погоду. В следующее мгновение, заметив в ее руках конверт, тихо воскликнул: “Письмо! От нее!” Он быстро взял протянутый матерью конверт, разорвал его. “Прости, родной, я была все-таки неправа”, – прочитал он вслух первые строки и с нежностью посмотрел на мать. На ее улыбающемся лице льдинками блестели слезы.

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть

ТРОЕ ИЗ ПЛЕНА	5
---------------------	---

Рассказы

• ТАКСИСТ	61
• СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК	70
• НЕПРИСТУПНАЯ	78
• СКРИПКА	94
• ИВАН СИДОРОВИЧ	101
• ИСПОВЕДЬ ДОМУШНИКА	116

Рассказ-очерк

МАНУВАХ	125
---------------	-----

Новелла

ПИСЬМО	135
--------------	-----

Типография ордена «Знак почта» издательства МГУ
119899, Москва, Воробьевы горы.

Заказ № 1029 Тираж 1000 экз.

